



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

**Сибирские картинки XVIII
века**
(Рассказы)

Содержание

От автора	0005
I	0010
II	0012
III	0015
IV	0018
V	0020
VI	0025
VII	0029
VIII	0033
IX	0036
X	0042
XI	0046
XII	0049
XIII	0053
XIV	0059
XV	0063
XVI	0069
XVII	0076
XVIII	0081
XIX	0088
XX	0098
XXI	0103
XXII	0109
XXIII	0116

Николай Лесков
Сибирские картинки XVIII
века
Из дел сибирской старины

Наше историческое развитие шло по-своему.

Н. Данилевский

От автора

Настоящему рассказу о делах, происходивших в Сибири в XVIII веке, необходимо предпослать несколько строк вместо предисловия.

Более десяти лет тому назад, в первой книжке «Русского Вестника» за 1882 год на первом месте было начато печатанием исследование Вакха Гурьева, под заглавием: «Исповедный штраф в Сибири в течение прошлого XVIII-го века». Автор этого исследования, Вакх Гурьев, был православный священник и происходил из сибирских уроженцев; близко знав дела этого обширного азиатского края, он сделал себе в литературе известность несколькими достойными внимания исследованиями о сибирской старине. Исследование Гурьева об «исповедном штрафе» тоже обещало представить очень живой исторический и этнографический интерес; любопытство, возбужденное появлением статьи в московском журнале, не было однако вполне удовлетворено, потому что из всего исследования в «Русском Вестнике» напечатано только три

главы, а остальное обещано впредь, но продолжения не было. Не было продолжения этой статьи и ни в каком другом издании, а в законченном в 1892 году труде В. И. Межова: «Сибирская библиография» (№ 6972), «Исповедный штраф» Вакха Гурьева прямо показан неоконченным.[1]

Сведение это надо считать наиболее достоверным, для которого излишни были бы проверки, но и они были сделаны и принесли те же самые результаты: большая история, описание коей было начато по документам и живым, устным рассказам и повестям, остается в зачаточном положении, без развития и без конца, а потому и не приводит читателя ни к какому определительному выводу и заключению.

Была ли рукопись этого исследования доведена Вакхом Гурьевым до конца – неизвестно, равно как неизвестна и причина, по которой печатание «Исповедного штрафа» было в «Русском Вестнике» прервано и неокончено. Может быть, это зависело от неблагоприятных для литературной работы условий в положении самого автора, который в это время

переменил место и, перейдя на службу в Царство Польское, умер в Калише 24 июля 1890 г.

Случай дает теперь возможность изложить это дело во всей его полноте и законченности, хотя и без тех частных, которыми располагал Вакх Гурьев, знавший Сибирь по личным наблюдениям и пользовавшийся рассказами других старожилов.

Случай же этот заключается в следующем. В С.-Петербурге жил и здесь же не так давно скончался известный сибирский золотопромышленник, генерал-майор Вениам. Ив. Асташев, с которым я был знаком и от которого подарены мне несколько копий с деловых бумаг, касающихся сибирской жизни. Довольно долгое время бумаги эти лежали у меня неразобранными, а когда я стал их просматривать летом прошедшего года, то увидел, что в них есть очень значительная доля того материала, который встречается в обработанном виде в исследовании Вакха Гурьева об «исповедном штрафе XVIII-го века», и что материал этот не ограничивается тем, что попало уже в начало исследования Гурьева, а идет дальше сплошную и неразрывную цепью со-

бытий до тех пор, пока дело кончается в тридцатых годах истекающего нынешнего столетия. Материал дает возможность закончить недоконченное исследование об «исповедном штрафе», который находчивостью сибирских деятелей переходит в другое дело – «о небытии», потом в дело «о скверноядстве», и наконец – «о простоте», в которой все и «тонет в тундрах Сибири».

Крайне заинтересованный этим оригинальным делом, я решился изложить его в нижеследующем рассказе, причем – дабы сохранить изложению цельность – должен был вкратце сказать опять и о том, что уже рассказано в трех главах повествования В. Гурьева в «Русском Вестнике», с тою, однако, разницею, что как я не знаю местных преданий о всей этой истории, то я их и не касаюсь, а веду весь рассказ гораздо кратче и уже, чем рассказ Гурьева, пущенный в первых трех главах широко – до чрезвычайности.

Я держусь в моем изложении дела одних бумаг, и притом, – как я имею основание думать, – именно тех самых бумаг, которыми пользовался для своего начатого и недокон-

ченного труда Вакх Гурьев.

Среди явлений русской жизни в Сибири чрезвычайно характерным и любопытным представляется борьба светских и духовных властей с крещеными сибирскими инородцами и другими людьми, которые не понимали важности принятых ими на себя обязанностей. Особенно много забот было о том, чтобы они не уклонялись от исповеди.

Архивы сибирских консисторий, духовных правлений и губернских и воеводских канцелярий хранят до сих пор множество дел «о небытии», «о скверноядстве» и «о злоупотреблении простотою», из которых рачителем сибирской старины сделаны были некоторые выписки, приведенные здесь нами в порядок.

Дело, о котором будет речь, сначала получило название «о небытии», под которым и упоминалось в бумагах. Началось оно при Петре Великом и, как думают некоторые, – по его мысли, а во всяком случае по его указу 14-го февраля 1716 года (т. е. за девять лет до его кончины). В указе том «великий государь велел всякого чина людям у отцов духовных по-

всегодно исповедываться, а ежели кто не исповедуется, на таковых попам подавать росписи архиереям, а им те росписи отсылать губернаторам, а губернаторам и лантратам класть на тех людей штраф, против дохода с него втрое, а потом им ту исповедь исполнять. А которые прежде податей не платили и явятся виновными, тех обложить, применяясь к тому же, а с девок и вдов против одного вполов. Раскольников же положить против настоящего платежа».

Таким образом, денежный штраф за «небытие» (т. е. у исповеди) был наложен этим указом одновременно как на раскольников, так и на церковных людей, которые в очень большом количестве не являлись для исповеди к своим духовным отцам.

Отсюда началось это дело; а далее сейчас мы будем видеть, как этот источник потёк по азиатской окраине, где редкое и бедное кочевое население живет в обширном рассеянии и притом «пребывает в состоянии природной простоты и совершенной дикости».

Наложение штрафа за неявку к исповеди сначала поручалось светским властям, «губернаторам и лантратам», а по сколько налагать на каждого человека, не явившегося к исповеди, — на это искали определения в указе, где сказано, что надо «класть штраф против доходов с него (отбегальщика) *втрое*». Лантраты поняли так, что раскольников нужно «записать в *двойной* оклад (платимых ими податей)», а церковных, не явившихся к исповеди, следует оштрафовать *втрое*. И многие так и сделали, а чрез это вышло, что раскольники, заплатившие двойной оклад, «отводили исповедную повинность» дешевле, чем православные, которых лантрата обложили штрафом «*втрое* против доходов с них». Православные, увидав из этого, что им гораздо выгоднее совсем «записаться по двойному окладу», объявили себя раскольниками. Они стали являться к светским властям и просили «записать их в двойной оклад», а те это исполняли, и раскол возрастал в своей численности.

Другие же люди, которые не хотели зачислять себя в раскольники, «по двойному окладу», стали обращаться к «приходским попам» с подкупами, чтобы «попы показывали их бывшими». Попы брали за это «посулы» и показывали небытейщиков «бывшими», и таким образом реестрация вместо того, чтобы выяснить дело, повела к усиленной лжи. А как «посулы» за фальшивые отметки небытейщиков «бывшими» брали одни попы и не делились этими доходами с причетниками, то среди сих последних запылала всеобщая зависть против настоятелей и пошли на них доносы.

Доносов было множество, и представители духовной власти их не скрывали, а напротив, охотно направляли их на вид высшего начальства, чтобы показать, что светские чины не могут хорошо вести это дело и только портят духовенство, предоставляя ему возможность покрывать виновных в уклонении от исповеди.

Из-за этого между светскими чиновниками и приходским духовенством начались споры и «подвохи». Духовное ведомство по

убеждению, что светские неподлежаще записали в раскольничий оклад нераскольников, «посылало *своих фискалов* для розыска, а светские власти, потакавшие раскольщикам, схватывали посланцев духовного ведомства и сажали их скованных в тюрьмы и держали под крепким караулом и оному исследованию о раскольниках и духовных делах чинили тем сущую остановку».[2] Светские же власти в отпор этим укоризнам со стороны лиц духовных вывели на вид, что «многие священники в поданных ими духовных росписях за 1716 и 1717 годы (самые первые после указа) многих детей своих духовных исповедавшихся написали исповедавшимися, а *действительно бывших у исповеди по злобе своей на них записали не бывшими*».

О злоупотреблениях в подобном роде завелось множество дел, шли бесконечные допросы, сыски и очные ставки, а между духовными и светскими чиновниками поднялась такая ожесточенная распря, что высшее правительство увидало необходимость быстро и энергично вмешаться в это дело и дать ему другое направление.

Десятого и семнадцатого марта 1718 года последовали высочайшие указы, которыми (10 марта 1718) категорически определялось: «по сколько именно надлежит брать штрафа с разного звания людей, отбегающих исповеди». Назначено брать «с разночинцев и посадских в первый год по одному рублю, во второй – по два, а в третий – по три, а с поселян в первый раз по десяти денег, во второй по гривне, а в третий – по пяти алтын». А чтобы штраф за небытие взыскивался без попустительства и без пререканий между особами светского и духовного чина, – все это дело передавалось в заведывание лиц одного духовного ведомства, – а прежним взимателям штрафа из особ светского звания настоящими указами предоставлялось только наказание виновных. Заниматься взысканием было, разумеется, гораздо прибыльнее, чем наказывать несостоятельных плательщиков, и потому светские власти описанною переменою были недовольны и стали делать духовенству помехи.

Духовенству же с «набытием прав» по сбору штрафов за небытие прибыло и «страхования», и «страхования» эти были не шуточные. В указе читаем: «А буде о тех, кто у исповеди не будет, а священник о том не донесет и за такую его манэ (sic) взять на нем штраф первое пять рублей, второй десять, а третий пятнадцать рублей. А ежели по тем (т. е. и после третьего штрафа) явится в такой же мане и за то извержен будет священства».

И еще это «страхование» было усилено тем, что повелено было «по извержении» священников «взять их имение», а самих их «отсылать для наказания к гражданскому суду и в каторжную работу».

Известясь о таких указах, особы духовного чина не сразу разобрали: «пришло ли к ним торжество или горечь». Дело оштрафования «небытейщиков» обещало, конечно, хорошие выгоды, но и «страхования» со извержением и отъятием, а наипаче с преданием в руки светских приказных наводило на духовных ужас, который тем легче понять, что «светские» питали зло на духовенство за передачу в их руки самой выгодной части дела, и те-

перь приказные, по всем вероятиям, не дадут спуску тем из духовных, которые попадутся в их руки.

IV

Особы светского чина и действительно начали держать себя гордо и не уступали духовенству ни одного шага без неприятностей. Даже в самом начале приказные манкировали требованием духовенства. С 1718 по 1721 год духовное ведомство даже не добилося еще, чтобы светские сообщили ему списки небытейцев. Губернаторы, камериры и лантраты относились столь небрежно к требованиям представителей церковной власти, что часто вовсе не отвечали на бумаги архиереев и не только «с безнадежностью» доносили об этом московскому приказу церковных дел. Однообразия в действиях не было, а повсеместно дело шло где как попало: в одном месте «небытейщиков» штрафовали священники, в другом – приказные, и те и другие по своему бессудили одних и мирволили другим, а взысканные деньги «представляли по своей команде», или даже вовсе не представляли. Шла вообще полная безурядица, с которою московский церковный приказ уже не мог найти никакого толку, и тогда за дело это взя-

лось новое высшее церковное учреждение – св. правительствующий Синод.

Только что учрежденный тогда Синод тотчас же оценил значение дела о «небытейщиках», и указами от 20-го и 21-го чисел марта 1721 года сообщил в сенат «ведение», а епархиальным архиереям послал указы, «чтобы впредь собираемые с раскольников и с небывших у исповеди штрафы, опричь оного святейшего правит. Синода, в другие места не отсылать и определенному в Москве камериру тех штрафных денег и об них ведомостей не отдавать».[3]

Таким энергическим и твердым мероприятием Св. синода был положен конец нахальному непослушанию приказных светского звания, но зато возникли теперь недоразумения в самом московском приказе церковных дел, которыми в это время управлял архимандрит Златоустовского монастыря Антоний.

Под пригрозой Св. синода светские приказные сдали в духовные правления «сведения и отписки» о небытейцах, но дела эти были в таком виде, что в них нельзя было доискаться толку.

Златоустовскому архимандриту Антонию поручено было разобрать и привести в ясность все беспорядочно сунутые с рук приказными бумаги, а когда он разобрался, то увидел, что сами правительственные указания о тех, кого надо штрафовать, до сих пор еще не ясны. Так наприм., архимандрит недоумевал: «какой штраф наложить и требовать с людей, которые не подходили ни к купеческому, ни к крестьянскому сословию, и из числа коих являлись *многие сырые и убогие*, именно: солдаты, драгуны, ямщики и жены их, зеленщики, каменщики, ученики латинской и математической школы, оружейники, столяры, *сторожа церковные, звонари соборные*, приказные сторожа и *приставы*, люди боярские, сокольники и их работники и работницы, шляпного и суконного дворов ученики и работники, до-

му государева нижние чины и дворовые люди, хлебники, калашники, блинники, харчевники, масленники, печатного двора батыйщики и тередорщики и работные люди, кожевенники, портные мастера, сапожники, канатчики, свечники, плотники, швальчики, пивовары и богаделенные нищие мужеска и женска полу».

Внимательный златоустовский архимандрит основательным изучением дела обнаружил такое положение, которое еще не было в виду правительства, но которое, однако, вполне соответствовало живописанию Посошкова, в его «изъявлении очевидности лицемудрия», где он писал, что у нас «аще подкрепления» (указами) не будет, то и впредь вси по прежнему в церковь ходить не будут. [4] Небытейщиков приходилось забирать и штрафовать не в отдаленных дебрях и пустынях, а в покровительствуемых императором новоучрежденных школах, при собственном государевом дворе и, наконец, даже при самых приходских церквах и соборах, где сторожа и звонари упрямо не хотели «отбывать исповедь», а в то же время эти упрямы были

так «сыры и бедны», что в штрафе с них нечего было взять ни в первый раз, ни во второй, ни в третий.

Архимандрит, обнаружив такое удивительное состояние в церковном благоустройстве, не испрашивал в виду этого новых попечительных мероприятий, которые, может быть, теперь были бы уместны, а только представил вопрос: «с вышеозначенных различинцов скудных и бедных рублевый ли штраф или за скудость *по усмотрению и обыску* умалять – поселенский ли или противо купечества штраф имать?» Далее он спрашивал: «как поступать с теми, которые в податных книгах написаны неисповедавшимися, а после той переписи и подания книг померли?» Или – «с теми, кои временно проживали в домах на квартире или в работниках и при переписке записаны в этих домах, а когда наступило время взыскания с них штрафа, они в тех домах уже не оказались». Архимандрит Антоний спрашивал у св. синода разрешения, с кого в таковых случаях взыскивать штраф: «с хозяев ли тех домов, или велеть им тех людей отыскивать».

Таких осмотрительных и осторожных людей, как глава московского приказа церковных дел, архимандрит Антоний, оказалось довольно много. В виду «страхования» и «пригроз», последовавших из Синода, исполнительные лица духовного ведомства старались действовать как можно осмотрительнее и, не принимая на себя ничего, чту им могло казаться хотя мало-мальски сомнительным, с разных сторон слали в Синод свои многочисленные вопросы и «ожидали на них в разъяснение указов».

В Синоде скоро образовалось огромное скопление бумаг этого рода, из которых каждая требовала «наставлений, указаний и точных и явных определений», Синод был обременен этими бумагами и по многим из них сносился с сенатом, а сенат требовал сведений от губернаторов, – синод делал замечания архиереям, а архиереи своим подначальным администраторам, и все это при медлительности тогдашних сношений и при умышленном «препирательстве» и «отписках» со стороны представителей разных ведомств страшно увеличивало громадность дел, заве-

денных о «небытии», из которого в результате не выходило *ничего!*

Но здесь, в Европейской России, с розысками «небытейщиков» все-таки не встречалось таких достойных памяти затруднений, какие обнаружались в Сибири, где расстояния огромны, полукочевое народонаселение редко и дико, а духовенство было в тогдaшнее время совершенно необразованно и имело за себя таких «крепких» представителей, как Арсений Мациевич, Павел Конюшкевич и другие, любившие постоять за свою власть. Тут нашлись настоящие борцы для борьбы с «светскими властителями», и рачения их достойны долгой памяти в истории нашего духовного просвещения.

VI

В Сибирь вопрос о сыске людей, не бывающих у исповеди, пришел не сразу, но зато здесь он получил серьезную постановку. Первые «строжайшие указы» о сыске виновных в небытии и о взыскании с них штрафа пришли при митрополите сибирском Филофее Лещинском, который был настроения аскетического и шумных дел мирского характера не любил,[5] и потому, несмотря на всю строгость указов, повелевавших немедленно начать бесконечное дело «о небытии», он не обратил на эти указы никакого внимания. Или он был добр и не хотел теснить людей и, хорошо зная условия жизни сибирских дикарей и полудикарей, он понимал, что там требуемое дело сделать нельзя, а что от возни с ним придет только порча на тех, кто начнет с ним справляться. Дело тронулось только после того, как Филофей отошел, в 1721 году, на покой и на место его был сделан сибирским митрополитом черниговский архиерей Антоний Стаховский. С этих пор дело «о небытейцах» получает движение и все возвышается стро-

гая о нем требовательность, а с тем вместе разыгрывается и полнейшая невозможность выполнить над небытейщиками все то, что требовалось. Новый сибирский иерарх[6] распорядился, чтобы сибирские священники в конце церковных богослужений по воскресным и праздничным дням «читали бы все *преждесостоявшиеся* высочайшие указы о хождении к церквам и о *бытии наипаче* (курсив подлин.) у исповеди», но на этой почве дело не шло, и новый иерарх (третий после получения указов «о небытии»)[7] Варлаам Петров (друг губернатора), через пятнадцать лет повелел сибирскому духовенству смотреть на «взыскание штрафа за небытие» как на «самонужнейшее *государственное дело*».[8] И с этих пор в нисходящих и восходящих бумагах по духовному ведомству в Сибири начинают писать об «исповедной повинности» и об «исповедных недоимках».

Дело стало трактоваться не как религиозное, а как *государственная повинность*, которую духовенство должно собирать и доставлять казне, «А наипаче не запускать недоимок».

Интересы высшего и правящего духовенства в деле этом расходились с интересом приходского духовенства, которое представляло тут из себя инстанцию исполнительную, функции которой на местах «скитания небытейщиков» были, однако, очень затруднительны. Для архиереев и их консисторий было интересно, чтобы «оклады» за «небытие» достигали цифр как можно более значительных, а приходские иереи, которым надо было ездить да «съискивать», встречались с такими практическими трудностями, которые преодолеть было очень трудно, и поэтому священникам хотелось, чтобы «сыску» было как можно менее. Поэтому священники находили для себя удобнее и выгоднее не умножать числа «небытейцев», но чтобы это не сходило «небытейцам» с рук даром, – с их брали «поминки», которыми и откупались от требовательности консисторских приказных, и таким образом завели по Сибири в огромных размерах правильно организованное «попустительство».

Об этом узнали архиереи, и против попов призваны были действовать местные агенты

духовной администрации и так называемые «закащики», [9] «десятильники» и «члены духовных правлений», которые все должны были наблюдать, чтобы «сыск виновных в небытии производился неослабно, как самонужнейшее государственное дело», и чтобы приходское духовенство не мирволило небытейцам.

Но когда епископы пригрозили «закащикам» – эти последние напугались и в ограждение себя от ответственности стали уверять, что «самонужнейшего дела» в Сибири совсем невозможно исполнить, и на этот счет были представлены объяснения.

VII

Закащики объясняли, что многим крещеным людям в Сибири «невозможно отбыть исповедную повинность, потому что вблизи их жительства на весьма далекое расстояние нет вовсе церквей, а некоторые церкви хотя постройками и окончены, но еще не освящены и не снабжены утварью, а при других, находящихся в зело бедственном состоянии, издавна нет священников, а где есть и священники, то у тех в говейной поре не бывает ладану и вина, и совершать евхаристию ни на чем и невозможно». «А люди хотя и окрещены, но остались в первобытной дикости, и кочуют и скитаются в местах недоступных».[10]

Донесения «закащиков» были, конечно, не голословные, а подкреплялись точными указаниями, которых невозможно да и нет никакой нужды воспроизводить здесь во всей подробности, но для образца можно отметить, что в самой тобольской епархии, которою управлял еп. Варлаам (Петров), сделавший штраф за небытие «государственным делом», прихожане «целых многолюдных селений и

деревень оставались без исповеди в течение 1758, 1759, 1760 и других годов *единственно за неосвящением церквей*». А сколь эти села и деревни были многолюдны – открывается из подробных росписей,[11] из коих видно, например, что в слободе Белоярской, в томском и барнаульском заказах не исповедывались 2 тыс. человек, в берском остроге – 3.155 человек, в селе Тальменском – 1.645 чел., в селе Легостаевском – 1.306 чел., в селе Чингисском – 1.300, в с. Кособоковском – 1.805, в с. Космалинском – 1.874, а всего в этой одной местности тобольской епархии 13.170 человек, и хотя все они «не отбыли исповедной повинности *единственно за неосвящением церквей*», и стало быть отнюдь не по уклончивости, а без всякой с их стороны вины, но тем не менее «все эти 13.170 человек *подверглись штрафу за небытие*».[12] И в таком положении были застигнуты жители многих местностей сибирского края, и везде с них точно так же взыскивали штрафы и *повторяли* эти взыскания во второй раз и в третий, и напрасно штрафуемые хотя «не видали своей вины», но «свыклись и обошлись с положением, прием-

ля оное как бы за перевод натуральной повинности в денежную».

Если бы кому-нибудь похотелось избавить себя от платежа денег и отбыть исповедную повинность натурою, то ему для этого оставалось одно средство: ехать в город или в такое село чужого прихода, где все церковное благочиние было в порядке, т. е. где был освященный храм, и при нем священник и причт, церковная утварь, ладан и вино, и тут надо было стать постоем на постоялом дворе и ходить к службам церковным, а потом отъисповедываться и взять в том отписку для предъявления своему закащику; но это было сопряжено с такими большими хлопотами и с такою затратою времени и денег, что не представляло крестьянину никаких выгод, а, напротив, большие убытки в сравнении с уплатою штрафа.

Притом же еще и нельзя было рассчитывать, что если поедешь исповедаться в отдаленный чужой приход, то все это там и отбудешь. Это не всегда удавалось. Из дел видно, что люди, пытавшиеся заpastись исповедными отписками от священников чужих сел,

«ездили в эти отдаленные приходы напрасно, ибо когда они приезжали туда во время Великого поста, то не заставляли там попов при своей должности, поелику они были в то время вытребованы в заказы и содержались там для объяснений в течение нескольких недель».

Вызовы же священников в заказы, как видно из тех же дел, даже «нарочито совпадали со днями постов» и были обыкновенно «последствием доносов, посылаемых в заказы от дьяконов и причетников, с очевидным расчетом сделать зло священнику, оторвав его от прихода в говейные дни, когда люди отбывают исповедную повинность».

Следовательно, сибирякам платить штраф за небытие было удобнее и выгоднее, чем исполнять требу, и это получило развитие, а начальство начало смотреть на это не только снисходительно, но даже и благосклонно как на оборот весьма небезвыгодный для государства.

VIII

При таком взгляде народились и умерли три поколения, и прирост небытейщиков был, конечно, огромным. Так, например, по духовным росписям барнаульского заказа за 1758 год, в слободе Малышевсксй всех жителей считалось 3.191, а когда стали вместо исповеди брать деньги то вдруг, через четыре только года, там объявилось уже 6949 душ (увеличилось на 3.758), в с. Чингисском было 1.307, а в 1762 г. стало уже 3.901 (более на 2.594). В Змеиногорском руднике в 1758 г. было всего 715 чел., а в 1762 показано уже 2.294 (более на 1.579) и т. д.

Естественным образом такой прирост населения в четыре года, конечно, был невозможен; но так как он фактически был налицо, то его остается объяснить тем, что при денежной повинности явились те люди, которые ранее, при требовании от них натуральной исповеди, укрывались.

Таким образом, как финансовое мероприятие, обложение «небытия» денежным штрафом в самом деле принесло пользу. Надо

только было уметь собирать с этих людей доходы, от платежа которых они не отбегали, но сборы, однако, производились неаккуратно, и правительство стало беспокоиваться огромною недоимкою. В делах есть указ тобольской духовной консистории от 10-го июля 1786 года, из которого видно, что «в одном заказе через пять лет небывших накоплено 75.102 души, с коих и запущено сбору 100.000 рублей». А как священники и заикаши не имели средств как «донять» небытейцев, то дело опять стало клониться к тому, чтобы разделить операцию между агентами светского и духовного чина, так что духовное ведомство должно было «доставлять своевременно самые верные сведения о числе небывших у исповеди, а светские власти – распоряжаться наложением и взысканием штрафа».

С этим распоряжением ни один энергичский деятель в духовной среде сначала не хотел помириться: духовным вовсе не интересно было исполнять подготовительные работы для «приказных» и предавать им живых людей, которые умели ценить оказываемые им благодеяния и выгоды, но практика показа-

ла, что духовенство не потеряло своего значения для мирян, так как от них зависело: выдать небытейца или покрыть его небытие.

Уследить за тем, что станут делать теперь в Сибири с небытейцами, было невозможно; а чтобы понять эту невозможность, припомнить себе наскоро и вкратце: что такое представляло в те годы церковное благоустройство в Сибири и какого духа она имела тогда иерархов и светских сановников, бывших с теми иерархами в ладах или в контрах.

IX

В начале XVIII века, когда начался сыск небывающих у исповеди людей, в Сибири была одна епархия, которая именовалась (до 1768 года) «Сибирскою и Тобольскою». Пространство, занимаемое этою епархиею, было так велико, что одному архиерею, как бы он ни был энергичен, хорошо править ею было невозможно. Область этой епархии обнимала собою все пространство от Уральского хребта до Берингова пролива и от Ледовитого океана до северной границы Китая и степей, где кочуют киргизы. Вдоль епархия простиралась на десять тысяч верст, а поперек – более чем на три с половиною тысячи. И на всем этом страшном пространстве архиерей должен был все окинуть своим административным взглядом и все в церковном управлении упорядочить, и «небытейщиков сыскать», и обложить их «за небытие» штрафом, и даже произвести самое взыскание.

Трудность этого управления увеличивалась еще тем, что число крещеных людей, подлежащих архиерейскому попечению на

всем огромном пространстве Сибири, было невелико, и они не сидели на земле вплотную к одному месту, а разметались по обширной стране враздробь, где кому казалось сподручнее и выгоднее. По ревизии 1709 года в Сибири насчитано, кроме инородцев, немного более 230.000 душ,[13] и эти христиане жили по городам и селениям, а в Сибири и города, и селения разметаны друг от друга на большие расстояния, начиная от 200 и доходя до 500 верст и даже более. Пути сообщения, соединявшие эти удаленные один от другого пункты заселения, ужасны и поныне.[14] Тогда они были «непроездными дорогами» в настоящем, а не фигуральном смысле этого слова; а притом и эти отчаянные дороги пролегали главным образом по течению огромных сибирских рек: Оби, Иртыша, Енисея и Лены; а вдалеке от берегов этих рек и таких дорог не было.

Церквей на всю Сибирь было тогда числом 160, и из них *половина* приходилась на город Тобольск и на селения, ближайšie к этому городу, в котором жил иерарх Сибири. Здесь он и мог видеть на известное расстояние во-

круг своего кафедрального города некоторое церковное благоустройство. Другая же половина всего числа сибирских церквей (составлявшая число около 80-ти) приходилась на всю остальную Сибирь, с ее расстоянием около 10 т. верст в длину и более 3 т. в. в ширину. – т. е. они были разбросаны от Оби до Амура, и значительнейшее число их опять и здесь приходилось на города, а в селениях церкви были так редки, что приходы, к ним приписанные, тянулись от 200 до 500 верст. [15] Отсюда ясно, что церковному причту «сыскать» всех своих прихожан и объехать их во благовремени с требами было *невозможно!* Церкви же в сибирских селениях того времени все были деревянные, холодные и бедные, нередко без утвари, а иногда и без богослужебных книг, а также в них не было ни ладану, ни красного вина, ни муки для просфор. А без этих вещей православной обедни служить нельзя и причащать людей нечем. Запасы всего нужного для служения литургии приходили сначала «в кафедру», т. е. в Тобольск, а отсюда уже неспешно развозились по непроездным путям отдаленных

пунктов, достигая к местам назначения очень нескоро. А потому нередко бывало, что во многих церквях не служили по полугоду и более, а иные и вовсе стояли без служителей. Так напр., томского округа в селе Тутольском храм оставался без священника с 1779 года по 1801 г., т. е. слишком в течение двадцати лет, [16] а в Чардатской волости того же округа священника не было с 1725 г. по 1784, т. е. в продолжение шестидесяти лет!!.. Здесь даже причетники перевелись, так что между здешними обывателями успели народиться и свековать люди, совсем не выдавшие лиц духовного сана...[17]

И это не было явлением исключительным: «закащики» и из других мест доносили о таких же положениях, а в 1801 году один «закащик» рапортовал архиерею Варлааму, что «уездные церкви почти все находятся в самом бедственном состоянии, а инде и вовсе службу Божию оставляют».

Духовные правления представляли, что в таком положении «дело о небытии» нельзя справить так, как хочет начальство, но духовенству поблажки не дано: приходы, в кото-

рых не было священников, приписали на бумаге к соседним храмам, имевшим священников, и велели продолжать исправлять «небытейцев».

А приходы, «соединенные» таким образом на бумаге, в натуре представляли целые области, «раскидывавшиеся на *несколько сот верст*». Для образца можно указать, что, например, в приходе ирменской церкви томского округа деревня Крутихина отстояла от церкви на 105 верст в одну сторону, а деревня Панкрушихина – 157 верст в другую.[18]

О книжном научении или о духовном назидании прихожан, конечно, нечего было и думать. «Люди оставались в первобытной дикости».

Священник села Зырянковского в течение 20 лет заведовал приходом села Тутомского, до которого от его храма было 180 верст, а до самой отдаленной деревни этого «соединенного прихода» было 300 верст.

Понятно, что жители селений, находившихся в таких отношениях к своему приходу, были очень затруднены «исполнением исповедной повинности» натурою и им было го-

раздо удобнее платить штраф за свое «небытие», к чему они и стремились.

Х

Но и в тех сибирских селениях, в приходе у которых были налицо священники и облачения, и богослужебные книги с ладаном, вином и мукой для просфор и воском, положение поселян в отношении к «отбытию треб» было не лучше, чем то, какое выше описано. Так, например, в самом конце XVIII века жители Мелецкого острога жаловались архиерею, что «хотя они усердие ко святой церкви имеют и святых тайн причащаться желают, но священник их, Василий Хавов, мертвых не погребает, младенцев не крестит, родильницам молитв не читает и св. тайн не приобщает, а когда ж прибудет в год однажды через почты с колокольцем, с мертвых тел за погребение берет *сполна деньгами* и случится *коньми*, а погребения нет».[19]

Из жалобы этой трудно понять: как при таком священнике жители обходились с мертвыми, т. е. сберегали ли они трупы до приезда священника, или хоронили без него, а он по прибытии своем только «брал за погребение *сполна деньги*», или «*коньми*», а самого по-

гребения не пел и опять отъезжал с почтою?

Искание лучших людей, более соответствующих исполнению священнических должностей, не представляло никакого успеха. Священники в Сибири были столь необразованны, что «от простого мужика-поселянина отличались только одною букварною грамотою». Большею частию они «только умели читать церковно-славянскую грамоту, и умение писать признавалось высшею степенью образования». (Обстоятельство это надлежит особенно заметить, так как «умение священника писать» имеет большое значение в достоверности отметок о «небытии», до которых сейчас дойдет дело). Когда в конце XVIII века в г. Красноярске основывалась школа, для которой потребовался законоучитель, то во всем составе духовенства этого города не оказалось ни одного священника, который мог бы учить детей священной истории и начаткам православного учения веры. Тогда стали искать такого способного человека в духовенстве «енисейского и других округов», но результат был тот же. Тогда, нужды ради, «с разрешения духовного и светского начальства

учителем был определен сосланный на заводы поселенец из российских диаконов, некто Полянский»... Это был какой-то отчаянный гуляка, которому «нужды ради» выпала доля положить начало русской школе в крае, но порочные привычки ссыльного дьякона были причиной, что «через год он оказался совершенно неспособным по неумеренному винопитию», и тогда он от учительства был устранен, а на его место определен способный человек, разысканный в томском заказе. Это был пономарь Суслов, которого красноярское духовное правление аттестовало так: «он, Суслов, в чтении исправен, и письмоумеющ, и арифметики первую часть ныне доучивает в твердости, – чему и священно-церковнослужительских детей обучать со временем может».[20] Из всех учителей того времени в Сибири никакой другой не был так хорошо аттестован, как этот Суслов, а об остальных учителях духовных школ тобольская духовная консистория сделала общий отзыв, что «из них не все и писать умеют, или умножать по арифметике».[21]

Такие трудности приходилось преодоле-

вать сибирским архиереям с обучением нарождавшегося в XVIII веке поколения молодых духовных, но еще труднее было сладить с замечательною безнравственностью взрослых, при содействии которых надлежало немедленно привлечь к церкви упорных в своих заблуждениях раскольников и содействовать «самонужнейшему государственному делу».

XI

Митрополит сибирский Павел Конмскевич [22] прибыл на кафедру с обязательством энергически вести дело «о небытии», и он имел уже перед собою всю описанную нами старую практику этого дела, и мог видеть, что исполнить все то, что от него требовалось, здесь не с кем. И вместо того, чтобы скрывать настоящее положение и проводить время в «страхованиях» да в отписках, он дал делу новое, довольно смелое направление: после многих бесплодных усилий (с 1758 года по 1764 г.) он разослал по Сибири следующий любопытный «циркуляр», который современники почитали за «наилучшее изображение состояния сибирского духовенства». В этом митрополичьем циркуляре изображено следующее:

«Понеже по производимым в канцелярии тобольской духовной консистории делам оканчивается, что здешней тобольской епархии разных мест священно-церковно-служители *безмерно в пьянственных случаях и впротивообразных и не приличных званию своему*

поступках, в противность св. отец правил и духовного регламента житие свое препровождают, и в *ярыжствах* обращаются, и *валяются* и *спятно* улицам пьяны, и в *воровствах*, и в *ложных* подзаводскими крестьянами, яко бы об отказе их от заводов, указов *объявлениях* обличаются, – отчего в народе *чинят не малое смущение и соблазн раскольникам*, из коих, – как по делам значит, хотя бы некоторые от раскольнического своего злопагубного заблуждения и обратиться желали, но что означенные священники *безмерно упиваются* и в *пьянстве* своем многие *чинят* – между людьми и в *церквах сквернослсные ругательства и драки*, и тому подобные безчиния, тем претыкаясь от того своего проклятого раскола не отстают, и в том они, священники, от них, раскольников, не малое повреждение и укоризненное посмеяние на себя и *всему духовному сану поношение наводят*»...

Вывод получался такой, что люди, которые должны были исправить мирян, сами «наводят всему духовному сану поношение»...

Митрополит Павел это сказал, и, по замечанию одного из наших церковных истори-

ков, «убоялся вести свой корабль с пьяными матросами». Он стал просить Синод Отпустить его для поклонения святыням Киева и отправился туда на богомолье в 1764 году, и там и умер.[23]

XII

Понять «обещание» митрополита Павла Певесьма легко, так как переносить жизнь среди таких людей, какие описаны в приведенном циркуляре, было ужасно. А если такая была «соль», которую должна была земля осоляться, то что же представляла собою вся страна? Нравственное состояние Сибири в XVIII веке действительно представляет какой-то ад! Все ученые и путешественники, побывавшие в XVIII веке в Сибири (Миллер, Фишер, Гмелин и др.), в одном духе описывали в сибирских жителях страшную и отвратительную безнравственность. Духовные иерархи должны были об этом знать, да и не могли не знать, потому что светские власти им на это указывали. Генерал-губернатор Кашкин «неоднократно вынужден был обращаться к епископу Варлааму (Петрову), [24] прося побудить сибирское духовенство к принятию надлежащих духовных мер к истреблению в народе жестокости и дерзновения ко вчинению звероподобного свирепства и скотоподразжательного разврата».

Но сибирские иерархи не имели средств подействовать так, как просил их генерал-губернатор. Лучшим средством в тогдaшнее время считалось «личное воздействие на пасомых». Тогда думали, будто «велелепие архиерейского сана» производило на народ благотворнейшее влияние, но паства сибирских архиереев жила в таком рассеянии, что иерархам очень трудно было навестить всех своих «пасомых» и почти совсем невозможно показать большинству из них велелепие архиерейского служения. Притом же обстоятельства показали, что даже и результат полезности архиерейских объездов сомнителен, ибо пока архиерей кочевал для нравственного оздоровления своих пасомых, которые отличались «жестокостью и звероподобным свирепством и скотоподобным развратом», без него в его кафедральном управлении начинались ужасающие беспорядки. Он не помогал одному и губил другое. Так, например, когда упоминаемый в начале этого рассказа сибирский митрополит Филофей (Лещинский) *первый* из всех сибирских иерархов тронулся из своего кафедрального города в объ-

езд своей епархии, то он провел в этом путешествии кряду два года (1718 и 1719), и хотя он окрестил в это время 40.000 инородцев, но зато, лично посмотрев на своих подчиненных, пришел к таким взглядам, что по возвращении в Тобольск не стал исполнять указов о штрафовании за «небытие», а «отошел на покой» и вскоре умер (1727 г., мая 31-го). А в то время, пока он был в отлучке и крестил 40.000 инородцев, у него в управлении старокрещенными людьми завелись такие непорядки, что это пошло в пример и половицу. «Духовенство укрепилось в мыслях, что над ним нет начальства, а над его действиями нет контроля, и при невежестве своем развило в себе дух своеволия, непокорства, самого грубого и бесчестного произвола; даже те, кому была поручена часть архиерейской власти и попечение и надзор за другими – игумены, за кащики, десятинники – явились по своему бесстрашию архиерейские воли ослушниками, огурниками (sic) и продерзателями». А главное – за это время накопилось огромное количество нерешенных дел и очень большое число «ставленников» и «просителей», кото-

рые два года ожидали возвращения архиерея. А епархиальный суд в это время совершил ряд таких чудес, что схимнику Филофею показалось «нйлеть и слышать».

Таковы были результаты долговременной отлучки архиерея «в объезде», а скорее совершить «объезд» было невозможно, и вот то, чту с одной стороны представлялось желательным и «благополезным», то с других сторон оказывалось неудобным и даже совершенно вредным. Сорок тысяч дикарей, не ра-зумевших языка крестителя, были окрещены, но зато среди паствы, составлявшей коренную основу епархии, все само себя позабыло...

XIII

«Светские власти» видели, как многостороннее дело проповеди, назиданий и взысканий за небытие и особенно суд у «духовных властей», что называется «ни в короб не лезет, ни из короба не идет», и иронически относились к умению духовных деятелей вести эти дела.

Особенно сильный повод к критике подавали судебные приговоры духовных властей, на которые светские должностные люди указывали как на очевидные образчики неспособности судей.

Духовный суд в самом деле постановлял приговоры невероятные; был, например, в Сибири некто мичман Хмелевский, и он жил в связи с крестьянскою женкою Екатериною. По какому-то случаю это открылось и дошло до митрополита Сильвестра,[25] и тот определил мичману такую епитимию: «в праздничный день стоять ему среди церкви во время литургии на коленях с всаженною свечою, а когда время выходу из церкви народу присплет, тогда положить его (мичмана) на праг в

трапезе ниц и лежать (ему) потоле, пока через его весь народ из церкви пройдет, в которое время просить ему проходящих через него, да помолятся Господу Богу о отпущении грехов его; а по исполнении сего отослать в воинскую команду для наказания, чему достоин по воинским артикулам. А женку *Екатерину, кроме такой же епитимиц, на страх другим, наказать кошками*».[26]

Другой случай: в Сибирь следовала из России по этапу женщина Ефросинья Михайлова, которая до высылки ее была уже замужем за тремя мужьями. По дороге она имела несчастье понравиться отбывавшему вместе с нею путину ссыльному Захару Федорову, но Захар Федоров Ефросинье не понравился и она не хотела отвечать его любовным искаательствам. Да притом же Ефросинья была богобоязлива и уважала церковный брак, а «прелюбодеяния не хотела». Тогда ссыльный Захар обратился с своею задачею к партионному сержанту Логгинову, и тот за небольшую мзду уладил дело. Он, во-первых, несколько раз «нещадно» бил Ефросинью Михайлову «батошьем», чтобы она была створ-

чивее, и когда та, изнурясь от жестокого боя, стала подаваться и отпиралась уже только тем, что «боится блудного греха», то сержант сказал, что «за этим дело не станет», и, приведя партию в село Абалоцкое, близ Тобольска, обвенчал ее «по принуждению *четвертым* браком».

Нещадно избитая батожьем, Ефросинья покорила «принуждению» и сделалась женою ненавистного ей поселенца Федорова, и пока шла в партии – она под страхом батожья исполняла для его желания супружеские обязанности, но, придя на место поселения – в Кольонскую волость Томского округа, подала жалобу в томское духовное правление, и в той жалобе разъясняла всю свою нестерпимую обиду и доводила, что «как брак ее с поселенцем Федоровым есть *насильственный и четвертый* (для нее), а потому, стало быть, очевидно незаконный, то он по существу своему совсем не есть брак, а прелюбодейная связь, и она этого прелюбодеяния продолжать не допустит».

Духовное правление разлучило временно этих супругов и донесло о событии тоболь-

ской духовной консистории, которая «с доклада его преосвященству[27] определила: женку Ефросинью Михайлову *оставить в замужестве при поселенце Захаре Федорове, впредь до рассмотрения, а о состоянии ее взять от оного мужа ее известие*»[28] ... Как должна была чувствовать себя эта несчастная женщина, опять насильно отданная консисториею поселенцу на подержание, да еще «с доклада его преосвященству»!.. И в чем от этого поселенца «о состоянии ее» требовалось «известие» – из дела этого не видно, но что Ефросинья была призвана исполнять супружеские обязанности и в четвертом браке, обвенчанном под батогами, это закреплено самым документальным образом.

И эта женщина жила и терпела!

В самом распорядке с духовенством одна крайность переходила в другую чрезвычайность: при митрополите Варлааме в Амышевской крепости священник Седачев был изобличен «в пьянстве и шумстве, и в драках, и в прочих чинимых мирскими людьми соблазнах». Митрополит Варлаам определил за все это «перевести Седачева в Уртамский острог, с

подпискою об исправлении (себя)».[29] А митрополит Павел таким «исправлениям себя» не верил, и когда при нем был «обличен многажды в пьянстве и драках священник градо-тобольской Сретенской церкви Топорков», то навели о нем справку и оказалось, что он уже имел время и случай для «исправления», ибо «не единожды битием плетью был наказан и для памяти в работах содержан, но по ожесточению своему во исправление не пришел, а еще в горшая падал», и потому митрополит Павел (указ 27-го апр. 1764 г.) определил: «дабы священник Топорков впредь никаких продерзостей чинить не мог, от священнослужения его удержать, а для лучшей ему памяти и страха Божия при собрании всех священнослужителей градо-тобольских *каждый из них* по десяти ударов шелепом ему, Топоркову, *и себе в наставление* отправить».

И священнослужители привлекались к тому, чтобы бить собственноручно своих товарищей не в этом только единственно случае, а и в других таковых же. Указом от 27-го апр. митрополит Павел разрешал и всем заикам (т. е. благочинным) поступать с прови-

нившимися точно так же, но только с таким «рассмотрением», что «где число священнослужителей», участвующих в наказании собрата своего шелепами – «не велико, то там (число ударов от каждого) и приумножить можно».[30]

Дело же о «небытии» во все это время «волоклось» и взыскание денежных штрафов с небытейщиков производилось с такою неаккуратностью и медленностью, которые, наконец, возбудили в Петербурге негодование как раз после того, как 14-го апреля 1763 года был лишен сана и сослан в Ревель митрополит Арсений Мацеевич.

XIV

Известный своею добротою и религиозностью московский сенатор И. В. Лопухин в одном месте своих интересных записок говорит: «Дивен Бог во святых Своих», но ежели осмелиться сказать, то Он еще дивнее в грешниках.[31] Это замечание получит себе не одно подтверждение в обстоятельствах, сопровождавших дальнейшее течение дела «о небытии», которое развивалось давно и закончилось еще давнее.

«Фавор», которым духовенство пользовалось при Елизавете Петровне, прекратился с воцарением Екатерины II, и тогда же резко переменилась «долго сдерживаемая политика светских правителей».

Бывший в то время в Сибири губернатором Денис Иванович Чичерин, «пылкий грешник, пользовавшийся неограниченною властью», резче всех обнаружил «нетерпеливое самовластие» и начал усмирять распущенное сибирское духовенство. Для того, чтобы взяться за это, Денис Иванович имел повод, поданный делом «о небытии».

По весне 1767 года он получил из Петербурга «выговор» за то, что штрафные деньги «за небытие» у исповеди собираются неуспешно. Чичерин вник в дело и пришел в негодование на то, как безуспешно вело это дело духовенство, и сразу же «вынужденным нашелся сделать распоряжение,[32] чтобы сельские старосты и сотские во время постов сами вели подробные и обстоятельные списки о бывших и небывших у исповеди и доносили бы в канцелярию[33] для того, чтобы по получении росписей духовных можно было их поверить».

Такое распоряжение Чичерина было не только в высшей степени бесцеремонно и грубо, но оно даже и не основывалось ни на каком праве, так как дело о штрафовании «за небытие» лежало на ответственности духовного ведомства. Арсений Мацеевич, вероятно, ответил бы на эту дерзость еще большею дерзостью, но архиерей Варлаам (Петров) снес это.

Сельские старосты и сотские исполнили порученное им губернатором церковное дело и представили составленные ими списки Чи-

черину; но тогда приходские священники, увидевши, что справа о небытии ускользает из их рук, обнаружили свою дееспособность и сами тоже составили списки и прислали их в консисторию. От этого избытка, однако, добра не вышло, а произошла только большая путаница, которую сначала приняли за случайность, а потом стали приписывать хитрому и дальнзоркому расчету духовных, доставивших от себя списки небытейцам, кроме тех, которые составили старосты. Когда дошло до наложения штрафов и привелось сверять списки, присланные сотскими к губернатору, со списками, полученными в консисториях от священников, то оказалось, что между одними и другими огромная разница, которой согласить невозможно. Кто записан в «небытии» у сотских и старост, тот отмечен «бывшим» у священников – и наоборот. Поднялась страшная кутерьма: Чичерин принимал сторону своих подчиненных, а архиерей отстаивал своих, и пока успели что-нибудь выяснить, Чичерин в 1771 году получил уже «высочайший выговор и страшно ожесточился».

Должностные лица в Сибири были этим очень удивлены, так как губернаторы до сих пор никогда еще не подвергались ответственности за дела церковного управления, а Чичерин, «пользовавшийся неограниченной властью», был так сконфужен!.. Все знали, что он самолюбив безмерно, и все сразу сказали, что «Чичерин этого не стерпит».

XV

Чичерин и действительно не стерпел, и начал ожесточенную «войну с попами»: он тотчас же сам «выехал в губернию на ревизию» и сам ревизовал *«почти в каждом селе церковные документы и неисправных священников брал под стражу, сажал в холодную, а некоторых под караулом отсылал в Тобольск, в свою канцелярию, где их заставлял составлять или исправлять неверно ими составленные документы»*. Но как ни энергичен был Чичерин, он однако немного успел в своей «войне с попами», потому что обревизовать Сибирь таким образом, как он начал, ему не удалось бы даже в течение многих лет, а к тому же и представители сибирского приходского духовенства сделали для него успех ревизии совсем невозможным. Священники, следя за маршрутом губернатора, устраивали Чичерину такую подготовку, что как только он наезжал на одно храмовое селение и начинал там смотреть церковные документы, так об этом быстро узнавали духовные соседних приходов, и сейчас же все батюшки «уезжали

к боли». В домах же поповских оставались одни попадьи да дети, и может быть еще какой-нибудь безответный дьячок, который ничего не знал в «небытейских книгах». На расспросы же губернатора о попе – «отвечали, что поп отъехал в приход, а когда назад будет – неведомо. А послать за ним для сыску нельзя, потому что поехал он не в одно место, а приходы пространством безмерные, во все стороны».

Губернатору оставалось разве самому садиться у попа и ждать его возвращения.

Нетерпеливый и гневный Чичерин увидал себя одураченным и возвратился в Тобольск, «скрежеща зубами и иский кого поглотити».

Те попы, которые не успели бежать «к боли» и были забраны к Чичерину в канцелярию, за всех пострадали и ответили. Чичерин с ними не поцеремонился и сорвал на них свой пылкий гнев; но как он был вспыльчив и непостоянен, то ему надоело с ними возиться и лучше показалось свалить опять все на руки епархиального ведомства, которое тоже поступилось и не хотело более контрировать с губернатором: теперь архиерей сам

просил Чичерина, чтобы полицейские агенты помогали духовным.

Таким образом, архиерей и губернатор заключили унию и взялись вести «государственное дело» строго: духовный ли, светский ли «агент» попадетя в вине – ни одному не давать поблажки.

Первый попался «нижне-тунгусский поп с причтом».[35]

Тобольская консистория предписала туруханскому закащику (благочинному), «истребуя от тамошнего городничего, или земского суда, двух нарочных сыскать нижне-тунгусского погоста попа с причтом в духовное правление и тут их, доколе они за 1789 год росписей не исправят, *держатъ без выпуску в цепях под караулом и денно-нощно их к тому принуждать*».

Однако и это ни к чему не повело: и тунгусский поп убежал, да и вообще попы «разбегались», а те, которых ловили и сажали на цепь, «сидели без выпуску», но проку от этого не выходило, потому что епископ они составить не могли, ибо неисправность была уже слишком долго запущена.

А как «Синод требовал списка неотступно», то несчастная консистория вынуждена была сознаться, что она «ничего не может сделать, понеже духовные правления и священноцерковнослужители по бесстрашию их о государственном деле не брегут».

Дойдя до откровений о своей несостоятельности, консистория уже не стеснялась и выкладывала всю правду: в июле 1786 года она доносила, что у нее совсем не на кого доложить, потому что и закащики, и члены духовных правлений, все «ослушники, огурники, супротивники и коварники». Вся соль осолчилась! Утрата дисциплины и повиновения была полная, но, однако, во многих случаях трудно было и ждать исполнительности и повиновения. Закащики вытребовали «попов» из-за сотен и даже из-за тысяч верст, «для вчинения рукоприкладств» и других неважных дел, без чего было можно обойтись, и «держали их в заказах долго, по несколько недель и даже месяцев, а от таких сыскиваний происходили для сельских причтов великие убытки в переездах, поминках и подарках, а в приходах остановка в исполнении ду-

ховных треб».

Тобольская консистория попов не жалела и стала «просить губернаторов, чтобы они приказали городничим и исправникам давать „сыщиков“, которые должны „приводить неисправных священников в духовные правления и держать там под караулом до окончания росписей“, но через месяц консистория сделала еще более: она совсем уже предала „свою команду“ мирским командирам и „с дозволения губернаторов“ прямо сама от себя предписала всем исправникам и городничим „держатъ под стражею безвыпускно и самих закащиков (благочинных) и всех членов духовных правлений, поколе они всех росписей не исправят и не отошлют к его преосвященству“ [36]».

Таким образом, все тогдашнее непослушное «бесстрашное» и «огурное» духовенство Сибири, выведя из терпения свое начальство, было им «предано во власть мирских человек», т. е. губернаторских чиновников, которые «со дней митрополита Арсения точили на них зубы, но только не смели на оных в действиях покунуться», а теперь эти приказ-

ные получили право всех мало-мальски неаккуратных священноцерковнослужителей «хватать яко неблагопокорных», и лишить их свободы, и держать безвыпускно... Чиновники постарались показать свое усердие и так «хватали», что Сибирь во многих местах осталась без требоисправителей, но «батюшка Денис Иванович» об этом не беспокоился и «истязал попов так, что даже кожа на них трещала. А об отлете не унывал, мян яко в потребный час вся покроет своею орденскою мантиею».

Тут сибирские требоисправители, лишённые свободы и доходов, потеряли свое «огурство» и, «впав в руце Чичерина, явились благопослушны»: они написали списки.

Чичерин хвалился: «Я сказал, что я свое возьму, и вот я взял!» А вышколенные им попы, отъезжая из его канцелярии, говорили себе: «Похвальбишка! Ну, взял – так и взял, а подожди хвалиться-то!»

XVI

В 1794 году росписи пришли и из всех сибирских заказов, ибо «до всех дошло ведение яко вси преданы Чичерину», и в Тобольске консисторские подьячие сделали из тех росписей «экстракт», который и был представлен в Синод.[37] Требование начальства этим было выполнено: вся «скала небытия» обозначилась на виду, и все оформлено и приведено в надлежащий порядок, так что можно было составить смету: сколько придет дохода от небытия; но на местах, при самом обложении денежною платою за «небытие», начали вновь обнаруживаться невероятные вещи, через которые опять должна была происходить несусветимая путаница. При проверке на местах оказалось, что «в числе показанных (по спискам) не бывшими нередко попадали *давно умершие* или (находившиеся) по несколько лет в бегах, в ссылке, или переселенные куда-нибудь в Иркутскую или в Якутскую области. Напротив, истые раскольники, записанные светскими властями в двойной оклад, оказывались отмеченными в числе

бывших у исповеди и притом за несколько лет кряду»...

Отчего же и как могла произойти такая неисправность при всей наличности внешне-го рачительства и порядка со стороны «тесно ущемленного Чичериным духовенства», и что еще можно было теперь измыслить: кому еще во второй раз «предать» духовенство и как его «защемить», чтобы добиться от него точно обозначенной «скалы небытия»? И вот тут, в эту-то пору, в самой канцелярии у Чичерина явилось убеждение, что в таком огромном и диком крае, как Сибирь, решительно нельзя уследить за всеми, кто исповедуется, а кто не исповедуется, и что потому правильное обложение налогом за «небытие» есть вещь невозможная. А то, чего Синод достиг после множества усиленных и неотступных требований, была просто фикция, которую проделали над Чичериным «преданные ему и им тесно ущемленные попы», и над другим начальством «подьячие духовных правлений и консисторий», которые, будучи «нуждою и страхом гонимы и побуждаемы», все писали в списках «что попало».

Казалось бы, что такой велемогущий сановник, как Денис Ив. Чичерин, увидав дело как есть, так и должен был донести о нем в Петербург, чтобы там знали настоящее положение и не требовали того, что невозможно исполнить, – но Чичерин этого не сделал. Может быть, он не хотел понизить статью в смете ожидаемых доходов, которую все-таки желали собрать, а может быть, весь его большой будто бы характер выходил на кипячение и озорство, с кем это было удобно, а для правдивого представления о делах вверенного ему края духа у него не доставало...

Приходские же священники кроме того, что они не могли, но они и не умели составить верных отметок «о небытии».[38] И они это поняли и увидали, что им надо делать. Так как не доставлять списков стало нельзя, – потому что за это «можно впасть в руге Чичерина», а если составить «списки сочиненные», то можно попасть в руки подьячих, – то малописьменные попы исхитрились так, что стали поручать составление отметок «о небытии» самим же подьячим, служившим в тех самых духовных правлениях, куда надо было

представлять списки, а на то, чтобы вознаградить этих подьячих за труд их, завели со всех своих прихожан обоего пола новый «безобидный сбор за уволку от исповеди по 5 копеек с души».[39]

Устроивши таким манером экономическую сторону дела, сибирские священники еще лучше устроили техническую сторону операции: они захотели сделать так, чтобы требовательное начальство получало для своего удовольствия списки о небытейцах, но чтобы списков этих в приходах не писать, так как от этого только двойная работа: пусть кто эти списки ревизует – тот сам же их и *сочиняет*. На этом священники уговорились с консисторскими приказными и стали присылать этим подьячим «белые листы со своею подписью да хлопотные деньги по количеству», и подьячие брали деньги, а на белых листах писали в списки чтт знали, «по примеру прошлых лет», и пригоняли текст списков «как прилично к сделанным заранее подписям», и, разумеется, списки, составленные таким образом, подьячие уже не браковали и не возвращали, а направляли дело выше, где оно ве-

селило ожидавших результатов, которые должны были «оправдать предначертания». И пошло бы это вероятно на многие лета, но вмешался враг и все дело испортил: священники, собирая по пятаку за уволоку, не все отдавали подьячим и не хотели ничего уделять своим причетникам, которые рассердились и о всем донесли и на попов, и на приказных. Неумеренная жадность попов разрушила такую удобную организацию, и оба начальства – светское и духовное – явились друг перед другом в недостойном их, смешном виде.

Но надо было, разумеется, доказать, что списки небытейщикам сочиняют приказные, и за этим дело не стало: не только между причетниками, но даже и между приказными нашелся предатель: один приказный обиделся, что поп, с которым они состояли в компании, прислал ему мало денег. Подьячий навел справку: сколько поп собрал, и, сравнив с тем, сколько он ему доставил, увидал, что он удержал у себя львиную долю; и это приказному не понравилось и показалось обидно. А как и другие подьячие имели подозрение на других попов, что они передают не все, чтт собирают

«за уволоку», то мстивый подьячий решился наказать всех попов за их жадность и отправил в консисторию, как будто бы по ошибке... вместо списков – одни пустые листы бумаги, с поповскими подписями!..

Неопровержимая улика была налицо, и от этого людям стало не лучше, а еще хуже: теперь, когда консисторские подьячие знали плутню правленских и, посмотрев многие сохраняемые росписи, увидали, что все они писаны одною рукою подьячего, – консисторские потребовали себе части от правленских, а те от попов, а попы должны были увеличить сбор с мирян. И так дело опять уладилось.

Вместо прежнего «повального положения», при котором «поп собирал за уволоку по 5 к. с души», теперь плата повысилась.

Все это теперь происходило явно, и священник непременно должен был делать эти поборы, потому что иначе он своими списками никогда бы подьячим не угодил и его замучили бы «истязаниями».

Но и в этом усовершенном порядке опять обнаружились свои недостатки, которым на-

чальство не нашлось как помочь, а оборотистое сибирское духовенство опять само из них выбилось.

Когда старыми сборами «за уволоку» пришлось делиться с бтльшим числом участников, тогда приходские священники ввели еще один побор «за скверноядство».

Это статья очень любопытная, но она требует отступления и объяснений.

XVII

Еще в начале XVII столетия казаки, «простираясь к северным пределам Сибири, подбивали под власть свою вогулов, остяков, тунгусов, юроков, якутов и других народцев, кочевавших в своих северных пределах Сибири». Когда оканчивалось покорение или «подбитие», тотчас же начинались заботы о введении новых порядков; «о сборе ясака и о просвещении светом истинной веры».

Для этого казаки узнавали пункты, где «народцы» в известные сроки сходятся друг с дружкой, чтобы обменяться добычею своих ловов и иных промыслов. Тут казаки сейчас же и завели «постройки», которые назвались «острожками», или «острогами», или «крепостями», а впоследствии «городами».

Таким образом возник Березов, Обдорск, Сургут, Нарым, Туруханск, Якутск и другие нынешние города. Первоначальное заведение здешних городов обыкновенно шло так: сначала строили первую избу для воеводы, вторую для попа и третью, общую для «служилых людей», а насупротив их – ссыпной

амбар для хлеба, погреб для пороху и церковь. Церковь была «та же изба, только с крестом на крыше».

Заводили оседлости на таких местах, где кочевники имели обычай сходиться для меня; тут их рассчитывали «осетить и обратъ с них ясак». Придуманно было хорошо, и казаки, указав заводчикам, как собирать ясак, указали и следовавшим за ними священноцерковнослужителям средства, как «просвещать язычников святою верою и чем от них кормиться». «Просвещать же язычников» – это было целью прибытия духовных в сибирскую глушь, а «кормиться» от своей паствы им было необходимо, так как от казны им на все прожитье было «пожаловано в год на попа по 28 рублей, а на причетника по 18 рублей на ассигнацию» (= 8 р. и 5 р. 30 к.). «Паства», которую только что накрестили, вся состояла из кочевников, которых целый год не увидишь – только раз в год, в обычное время они сближаются к известным местностям для взаимного торгового размена, и тут-то надо около них сделать все, чтт нужно, т. е. и «осетить, обратъ ясак и научить святой вере». Когда во-

еводы со своими служилыми людьми хлопочут собирать с народов ясак в казну, тут же и священнику одно только время научить язычников христианству и исполнить для них задним числом все церковные требы для живых и мертвых, и получить с них за это требоисправление побольше шкур в свою пользу.

В церкви, или как сами казаки называли их – «в церквице» – в течение года бывали только воевода да его служилые люди, а «ясашных» прихожан никогда не бывало. Молились ли они, и как, и кому молились в течение всего года – об этом священник не мог знать, и церкви, и попа они боялись; но зато, когда они сходились, чтобы отдать ясак воеводе, казаки «имали их и загоняли на требы к попу», и «народцы» одинаково считали «ясак» как то, что они платили воеводским служилым людям, так и то, что платили попу. Так они и говорили, что должны платить «два ясака: один воеводе, а другой попу».[40] Оба ясака взимались с большим произволом: служилые люди «донимали» с дикарей вдвое и более против положенного, угрожая за

недодачу лишением драгоценной всякому свободы, а духовенство «правило свой ясак по количеству», т. е. по числу душ, которое дикари сами показывали в своих семействах «с удивительною простотою». Поп спрашивал дикаря: «кто в семье родился, и кои померли, и кои жить поймались на ново как муж с женою», а дикарь, достаточно уже умудренный опытом, что ему от этих расспросов выйдет вред, все-таки всегда давал откровенный и справедливый ответ «с врожденною простотою». По его же показаниям поп его и «облагал, как повелось по правилам: за крещение новорожденного дитя 10 либо 15 белок, за „очищение“ (?) 5 белок, за женитву – 2 соболя или 5 песцов». Иногда над дикарями задним числом исполняли какие-нибудь обряды, но большею частию дело ограничивалось только сбором ясака, а наличностью производилась только одна исповедь, – причем за разрешение грехов всей семьи расплачивался с попом старший в роде, и тут приходилось торговаться. С обыкновенного грешника брали от пяти до десяти белок, но с такого, у которого было больше, священник требовал и ясак по-

больше, а в общей сложности для отца семейства или главы рода это составляло расчет, против которого он спорил. Исповедный ясак иногда доходил до двухсот белок на семейство, и дикари этим очень тяготились, но «по простоте своей» своих грехов все-таки не скрывали, а только спешили скорее «очиститься и бежать». Обыкновенно они «убегали» тотчас же после исповеди и не дожидались причастия, о важности которого совсем не имели понятия.

Сибирские священники распоряжались наложением ясака по всей своей воле. Светские власти в это не вмешивались, за исключением нескольких лет «бироновщины», когда «духовного чина людям началось от светских командиров и еретиков притеснение и туга», но они «через это время отстоялись и скоро достигли лучшего века Елизаветы». Однако же, как и в Елизаветино время, духовным большого жалованья не дали, то духовные прибавили к ясаку «*подать за скверноядство*».

XVIII

Что значит «скверноядство»? Это то, если человек ест что-нибудь «скверное», т. е. «непоказанное ему для употребления в пищу». Скверное это не у всех одно и то же: в старой Руси скверным почиталась телятина и теперь многими почитается за «скверно» — угорь, налим, минога, реки и устрицы, мясо козы, зайца, голубя и черепахи и т. д. В Сибири на огромных пространствах, где кочуют «народцы», нет ни посевов, ни убойного скота, имеющего раздвоенные копыта и отрывающего жвачку, а потому кочевники употребляют в пищу все, что можно съесть, и между прочим мяса «животных, не показанных» по требнику, а именно: «медвежью говядину, соболей и белок».

Дикари ели эту пищу всегда, с тех пор как живут, и пока они не были окрещены Иннокентием Кульчицким, им и не представлялось, что это «скверно». Впрочем и св. Иннокентий, зная местные условия жизни, взысканий за эту «скверность» не налагал. Но теперь настала пора извлечь из этого выгоду.

Сибирские духовные положили очищать «скверноядущих» дикарей особою молитвою, а за прочтение ее наложили «новый ясак» с таксациею: 1) за ядение медвежьей говядины – одна цена, 2) за ядение лисьего и собольего мяса – другая, и 3) за белок и иных меньших зверков – третья.

За все это пошли сборы очень прибыльные, но и хлопотливые, так как надо было «следить за скверноядцами, и настигать их», и тут их «обкладывать и очищать молитвою», чтобы они потом вновь начинали «скверно есть» наново.[41]

Духовные отъезжали в поля для «настигания и сбора», причем полевали не всегда тихо и случалось, что народцы на них плакались, и светские власти пробовали защищать «народцы», но тут в сибирском крае получил могучее значение Арсений Мацеевич, который имел «непобедимую дерзость» и стоял горой за духовных.[42] Он выехал из Петербурга в Сибирь, когда Бирон и «еретики» были уже «свержены», и мог знать Сибирь превосходно, так как в 1734 г. он находился в экспедиции, посланной для открытия морского пути в

Камчатку, и пробыл в Сибири до 1736 года, когда «по секретному делу» был привезен из Пустозерска в Адмиралтейств-Коллегию, «но признан невинным». Он был угрюм и дерзок от природы; питал нерасположение к «светским властям» и всегда готов был дать им себя почувствовать. А потому, когда он достиг, в 1741 году, сана сибирского митрополита, он тотчас же издал «циркуляр», [43] «чтобы священноцерковнослужители отнюдь не смели обращаться в светские суды помимо своего епископа, под опасением низвержения по 11 правилу Антиохийского собора», а через четыре месяца совсем освободил духовенство от подчинения светским властям и «узаконил непослушание оным». В июле 1742 года митрополит Арсений «повелел, чтобы никто из духовных лиц без позволения своей духовной команды никаких от светской команды присылаемых указов *не слушали*, и ежели кто от светских командиров без сношения с духовною командою *дерзнет* кого из духовных лиц *насильно* к суду своему привлекать, *или в свидетельстве каком спрашивать*, или указы какие без сношения с духовною командою ду-

ховным лицам от себя посылать, то таковым присылать обстоятельные письменные протесты вскорости».

Сибирское духовенство тогдашнего времени, и без того дерзкое и непокорное, увидало в этом циркуляре Арсения «закон непокорности светским властям» и, «опираясь на него, упорно отказывалось от всяких сношений с светскими судами и администраторами». Дух же, возобладавший тогда в правительстве, заставлял администратора «признать мнимую законодательную силу указа митрополита Арсения».

При таких обстоятельствах, какие бы жалобы ни доходили от обывателей до «светских командиров» на «нестерпимые поборы» со стороны духовенства, – командиры эти никакой защиты «претерпевающим» оказать не могли.

Арсений однако здесь пробыл не долго: заведя порядки в Сибири, он был отозван на Ростовскую кафедру, а на место его стали другие: Антоний Нарожницкий (1742–1748), а потом Селиверст Гловатский (1749–1755). Это были люди не такие крутые, как Мацеевич,

но «закон Арсения стоял в своей силе» и духовенство постоянно оказывало «непокорность» светским правителям. Бывали в этом роде случаи, которым даже трудно верить.

В 1751 году (при Селиверсте Гловатском) проживавший в городе Томске коллежский асессор Костюрин убил принадлежавшую ему крепостную девку, а потом велел ее одеть и «положить под святые» и позвать священника, чтобы отправить по ней панихиду. Пришел священник «градо-богоявленской церкви с причетом», и когда стали петь панихиду, то «*причет* усмотрел на покойнице боевые янки и тотчас же, по выходе из дома Костюрина, подал о том ведение в воеводскую канцелярию». Воеводская канцелярия сразу же, «немедленно» послала своих полицейских, или, по-тогдашнему, «детей боярских», чтобы те освидетельствовали тело усопшей, и по этому осмотру оказалось, что «*причет*» не ошибся: «на теле умершей были найдены боевые знаки, которые и были признаны смертельными».

Воеводская канцелярия тотчас же начала следствие, но «по силе указа митрополита Ар-

сения, от 22 июля 1742 года», не сочла себя вправе отобрать формальное показание от «причета». Надо было испросить на это разрешение у «закащика» (благочинного), а «закащик был в отлучке по своему заказу и скорого возвращения одного нечаятельно». Томская воеводская канцелярия, 28 ноября 1751 года, донесла о своем затруднении в губернскую канцелярию, а та, 8 апреля 1752 года (через пять месяцев после убийства), «заглушала» это донесение, а 19 августа (через девять месяцев) сообщила тобольской духовной консистории, которая «светским командиром» людей своей команды спрашивать не дала, а ровно через год после убийства, в ноябре 1752 года, послала в Томск указ своему «закащику», и этим указом[44] «с резолюции митрополита Селиверста» предписано закащику «самому отобрать нужные по этому делу показания от причта градо-богоявленской церкви и доставить оные не в томскую воеводскую канцелярию», которая ожидала этих сведений, а «на архипастырское благоусмотрение его преосвященства».

При таких проволочках все следы совер-

шенного убийства, разумеется, исчезли, и дело «предано воле Божией»; а в новом указе митрополита Селиверста (от 22 ноября 1752 г.) сибирское духовенство получило еще «наикрепчайшее подкрепление неподчиненности своей, узаконенное митрополитам Арсением в указе 22 июля 1742 года». Сибирское духовенство «подкреплялось» и заняло такую позицию, что общее правосудие для него ничего не значило.

Так и продолжалось до 1762 года, когда Екатерина II назначила в Сибирь губернатором бригадира Чичерина, которого одни с любовью величали «батюшкой», а другие с ужасом называли «бешеным конем».

Тут пошло другое.

XIX

Денис Иванович Чичерин был человек не злой и даже, может быть, добрый, но гордый, заносчивый и пылкий: спорить с ним было не легко, да и дух правительства в это время переменился и не давал более преферанса «духовным командирам над светскими».[45] Чичерин мог остановить дерзость и находил в этом свое удовольствие: он приехал в Тобольск «с превеликою пышностью», и застал здесь на митрополичьей кафедре Павла Конюскевича.[46]

О Чичерине в Сибири, разумеется, знали и чиновные люди, ожидали его «с притрепетом» и говорили, что он «ужасно себя покажет», но духовные «небрегли, уповая на законы Арсениевы». Знатоки жизни обращали внимание на то, что Чичерин перед этим был в немилости и «долго находился в бездействии», а между тем очень любил Властвовать, и потому, как бы взалкав, теперь «скоро себя вознаградит за все терпение». При этом уверяли, будто он получил от монархини безмерные полномочия и «волен на всех в жиз-

ни и смерти». Рассказывали также чудеса о его великом богатстве и царственной щедрости: «кто ему угодит, он того в дворяне произведет и золотом засыплет». А Денис Иванович знал, что ему предшествует такая выгодная молва, и сделал так, что превзошел все слухи, предшествовавшие его прибытию в Тобольск. Он поразил Сибирь своим вступлением в ее пределы. Одной прислуги с ним приехало полтора человека, – в числе которых были гайдуки, скороходы, конюхи и повара. Сам он въехал в богатейшей карете, за которою следовал «штат», состоявший из лиц военных и гражданских, и, вступив в дом, никого из духовных особ к себе не позвал и сам к *митрополиту не поехал* и даже объявил, что «не желает иметь с ним знакомства». С первого же дня своего приезда Чичерин стал приглашать к своему столу «ежедневно не менее как по тридцати сторонних особ из разных сословий, а в нарочитые дни и более», но ни разу не позвал митрополита или кого-нибудь из духовенства. В обхождении со всеми он тоже был прост и обо всех участливо узнавал, кому как живется, но об одном митрополите ниче-

го не хотел знать. Митрополит Павел почувствовал обиду от этого пренебрежения, но еще не сробел и надеялся дать Чичерину урок и заставить его понять, что духовное величие выше плотского: митрополит скрыл обиду на сердце своем, терпел до «торжественного именитого дня Александра Невского» и в тот день собрался служить с великою пышностью, чтобы напомянуть людям и о своем величии. Говорили, будто бы он намеревался даже чем-то «уловить Чичерина в несоблюдении» и хотел произнести ему обличение; но все эти намерения митрополита остались невыполненными, а Чичерин страшно восторжествовал. Дело было в том, что это рассчитанное столкновение произошло в *орденский день* того самого ордена, которого Чичерин был кавалером и «имел его одеяние». А потому едва митрополит начал свое торжественное служение, незаметно чем превосходящее обыкновенное архиерейское служение, как на площади Тобольска открылось никогда еще здесь не виданное и поразительное зрелище: это было шествие, которое совершал сам Денис Иванович Чичерин, «облечен-

ный в орденскую *мантию*» (которую простой народ называл «мантилией»). Он шествовал в собор в сем величественном и никем до сей поры не виданном одеянии, сопутствуемый военными и гражданскими чиновниками в расшитых мундирах, а за ними все множество людей, которые успели собраться и следовали за великолепным выходом Чичерина. В городе все побежали смотреть на губернатора, и смятение, сделавшееся по этому случаю, проникло даже в храм, где служил архиерей, и здесь, как слышали, что по улице идет губернатор «в мантилье», все выскочили из церкви и гурьбою повалили встречать и сопровождать Чичерина в мантии... Митрополит остался в храме с одними своими сослужащими, да и из тех нашлись легкомысленники, которые бросились к окнам и все позабыли, смотря на Чичерина, который казался им «совсем как карточный король». Зрелище это имело какое-то ошеломляющее влияние на тобольцев. Говорят, что когда «Чичерин в мантилии» и со свитою из военных и гражданских чинов прошел уже весь путь от своего дома до собора и поднимался на входы

храма, то растерявшиеся звонари, не зная, как им поступать, подняли трезвон, а народ вопрошал: «неужели еще Соломон более сего был в славе своей»? И в храме люди будто уже «ни пения, ни молитв не слышали, а единственно только великолепию вельможи дивились». По окончании же службы, когда Чичерин обратился к выходу, «не удостоив говорить со владыкою», то все люди опять и устремились за своим пестрым «карточным королем» и не ожидали владыческого благословения. Так всех пленило и увлекало показанное Чичериным великолепие, перед которым благочестие города Тобольска не устояло, и люди обнаружили всю свою суетность!

«Народ рукоплещая» проводил батюшку Дионисия Ивановича до его губернаторского дома или «дворца», и по пути многие «ловя лобызали его руки, кои он простирал им из мантии».[47] Потом же Чичерин «давал обед при громе музыки, орудий и неумолкаемой ружейной стрельбе».

Митрополит Павел увидал, что ему с таким противником не справиться: он более на Чичерина и не пошел, а стал говорить о сво-

ем желаний ехать в Киев на богомолье. Губернатор же забирал ретиво, и управление его многим нравилось; это было управление во вкусе Гарун-Аль-Рашида: Чичерин вставал с постели в четыре часа утра и допускал к себе всех просителей без доклада, и решал сам дела всякого рода без исключения. Такое судбище у нас до сих пор имеет своих приверженцев. Чичерин выслушивал жалобщика и сейчас же посылал за ответчиком, а иногда и прямо сразу определял: кто прав, а кто виноват, и «правым оказывал скорее удовлетворение, а ябедников наказывал в то же время». Наказания он часто производил «отечески», т. е. собственноручно, или через «ближайшую особу». Это тоже нравилось; говорили: «отца родного не надо как Дионис Иваныч: поучит, а несчастным не сделает». «Так поступал он и с подчиненными своими, впадавшими в проступки; но за гневом немедленно следовали милости, а если то было напрасно, то и извинения». «Вспыльчивость и горячность его не долго продолжались», и когда гнев с него сходил, он «старался оказывать каждому услуги» и слыл за человека «доброего сердца». «В заня-

тиях был *неутомим*» и легко переходил от одного дела к другому. Он не только был высший правитель «обширнейшего края», но не пренебрегал и низшими обязанностями полицеймейстера: вставал ночами, брал с собою гусаров и вдруг наезжал в такие места, где могли быть темные сборища и беспорядки, и сейчас же сам восстанавливал здесь порядки... Даже самое увеселение собравшихся к себе гостей не удаляло Чичерина от страсти к быстрой расправе. «Если до него доходили какие-либо происшествия во время съездов (т. е. при гостях), то он без малейшей перемены в лице переходил из гостиных покоев в канцелярию, допрашивал здесь прикосновенных и виновных наказывал, а потом возвращался к дамам с приятностью, не объявляя никому о том, чту делал». Только особенно близкие персоны знали, чту значит такое удаление. Получив во время бала известие о том, что у него показались пугачевские шайки, Чичерин вышел из зала, оставив гостей веселиться, а когда надлежало гостям разъезжаться, он роздал повеселевшим чиновникам запечатанные конверты и отдал приказ выступить

двум ротам, «с тем, чтобы врученные бумаги были вскрыты не позже, как по прибытии их в назначенные места». От этого в Тобольске получился большой эффект; но там, куда выступившие пришли, их встретили неудачи, зависевшие от того, что скорое распоряжение, последовавшее под звуки бальной музыки, оказалось очень неудобным при встречах с разбойниками. Впрочем, к удовольствию Чичерина, посланные им «экспромту» войска хотя и пострадали и самых важных людей упустили, но все-таки изловили несколько «бунтовщиков, вспомоществовавших Пугачеву», и Чичерин сейчас же четверых из них повесил в Тобольске. Это почиталось достаточным, в смысле благоприятного впечатления...

Чичерин видел, конечно, и все дурные стороны местного церковного управления и не прочь был сделать что-нибудь лучшее; но, по его мнению, – ему «не с кем было об этом говорить»; митрополит Павел, которого он застал в Тобольске, был ему неуютен, а митрополит тоже говорил, что «не желает имати в нем тивуна или судью духовных дел, по примеру тивуна Маноилова, исправлявшего чин

церковной оправы».[48] На этих их «контрах» застряли и сборы за «небытие», и беспрепятственно совершалось «донимание за скверноядство». Чтобы улучшить что-нибудь в церковном управлении, Чичерину казалось необходимым сбыть с рук Павла и посадить на его место другого человека, более с ним согласного. Но Павел просился на богомолье, а пока все-таки не уступал и старался платить Чичерину око за око и зуб за зуб. Наконец он до того рассердил Чичерина, что тот (как повествует «Тобольский Летописец») «во время гулянья на масленице приказал своим прислужникам нарядиться в монашеское платье и в таком виде заезжать в городские кабаки и развратные дома; а митрополит, в свою очередь, в отплату Чичерину, приказал (sic) в одной градской церкви на картине Страшного суда изобразить на первом плане Чичерина, которого тянут крюком за живот в пекло рогатые бесы».[49]

Чичерин этого будто не устыдился, а только смеялся над этим. Он уже так «усилился», что стал «давать около Тобольска чиновникам займки и производить их в сибирские

дворяне», и митрополит, видя его усилие, опять начал проситься у Синода в Киев на богомолье, где и умер, а на его место в Сибирь был назначен Варлаам (Петров), «брат славного новгородского митрополита, с которым Чичерин находился в дружеских связях».[50]

Варлаам делал все угодное губернатору: он назвал «сбор за небытие» «самонужнейшим государственным делом» и не мешал Чичерину «быть тивуном» на самом деле: при нем Денис Иванович ездил ревизовать духовенство и забрал к себе несколько попов в канцелярию, куда имел обычай заходить иногда по домашнему – в бешмете и с арапником в руке.

Однако все это сокрушило только тех, которые попались «тивуну», а остальные продолжали все свои бесчинства и «гонялись за очищением скверноядства». С этой последней заботой здесь дошли до такого исступления, что в постоянных охотах «попы даже дни позабыли», чту и послужило этому делу как бы к закончанию.

В 1780 году Чичерин, произведенный в чин генерал-поручика, оставил Сибирь. Духовенство приободрилось и повело дело по старине, в духе «Арсениевой независимости». «Народцы» терпели в молчании. Над Европой пронеслись величайшие события, именуемые французскою революциею; в Москве побывали дванадесять язык; облеченные доверием государя, сенаторы Лопухин и Нелединский, увидав расправу с молоканами в Харькове, делали представления в духе терпимости; и всем было известно желание императора «воздержать начальников в пределах их власти» («Русский Архив», стр. 104), а в сибирских тундрах с крещеными «народцами» делали все, чту хотели, и это необузданное бесчинство дошло до того, что наконец сами просветители потеряли память и разучились различать дни в неделе.

В 1819 году поехал по Сибири какой-то «именитый путешественник». Прибыв на реку Таз, он пожелал присутствовать при богослужении в тамошней церкви, «в чем, одна-

ко, не мог получить себе удовлетворения».[51] Почему именно богомольный путешественник «не получил удовлетворения» – из материалов, дошедших ко мне от генерала Асташева, не видно; видно одно, что «сие было в *четверток*, но местный священник доказывал путешественнику, что *день тот был пяток*, и таким образом (выходит, что) *вместо воскресного дня священник отправлял службу в субботу*, а воскресный день оставлял без литургий».

Путешественник написал об этом в Петербург князю Александру Николаевичу Голицыну. Князь Голицын тогда имел обширную власть: он был министром духовных дел и народного просвещения,[52] а сверх того[53] управлял еще министерством внутренних дел и именовался главноначальствующим над почтовым департаментом. Он мог сделать очень много и вообще «эту эпоху деятельной жизни своей ознаменовал подвигами, достойными перейти в потомство».[54] Его уже называли: «друг царя и человечества»,[55] и он действительно нередко успевал быть «доступен голосу обидимых неспра-

ведливостью» и «не любил нетерпимости, а уважал чистое христианское благочестие».

Письмо, написанное путешественником с Таза, пришло к князю Голицыну одновременно с «известием из Туруханска, что священники тамошнего края заражены корыстолюбием и сильно притесняют ясашных инородцев».

Оба известия, кажется, последовали из одного и того же источника, т. е. от путешественника, который увидал беспорядки и злоупотребления сибирского духовенства и находил себя в благоприятных условиях для того, чтобы обратить на это непосредственное внимание «высокомощного друга человечества».

[56]

Голицын немедленно же дал ход этому делу, направляя его «по ведомству духовных дел». Архиепископ тобольский Амвросий (1-й) Келембет, [57] 16-го апреля 1820 г., получил от князя Голицына «строжайшее предписание произвести немедленное и самострожайшее следствие», как о священниках «сильно притесняющих ясашных инородцев», так и о тазовском священнике, который помешал дни.

Дела эти, показавшиеся Голицыну за что-то необычайное, в Тобольске никого не удивили: здесь все знали, что ясак собирается с дикарей духовными искони и постоянно и всегда в произвольном размере; священники же, странствуя в отдаленных местах, «путают дни», а потому за это даже нельзя было строго и взыскивать, так как у священников «часов численных не было и в разъездах их дни у них нередко приходили в забвение».

Архиепископ Амвросий доставил объяснение, что «на притеснения ясашных священниками» жалобы действительно иногда бывали, но что дела эти были несерьезны и «или прекращались сами собою, за давностию времени, или оканчивались взаимным примирением; а если дикари могли представить несомненные доказательства, что их „обирают“, тогда причту „был выговор“.

Князю Голицыну, однако, рассказали, что в Сибири все исследования о разорительных поборах духовенства производит обыкновенно „один соседний священник над другим таковым же“, и потому они друг друга покрывают и лгут, и на их исследования полагаться

нельзя. Голицын поблагодарил за указание и принял против сибирской поповской взаимщины такие меры, которые, по мнению этого высокопоставленного вельможи, должны были положить конец злоупотреблению следователей, а вместо того сделали невозможным даже самое начало следствия.

Министр духовных дел и народного просвещения назначил следствие над „тазовским забвенником“ и над притеснителями диких скверноядцев, предписав, чтобы следствие это производилось „с прикомандированием депутата со светской стороны“. Депутат с светской стороны еще мог быть допущен по уголовному делу, в котором вмешаны миряне и клирики, но по делу чисто церковному, каково есть по своему существу недоразумение между прихожанами и духовником, – депутат с светской стороны представлялся лицом неуместным, излишним и крайне нежелательным. А потому в Тобольске думали, что архиерей Амвросий Келембет „не подчинится“ и не допустит светского депутата к следствию между прихожанами и их духовником, но Амвросий не только подчинился, а даже засуетился и заспешил. Он призвал к себе секретаря консистории и „повелел ему в два дня сделать все как указано“. Тобольская консистория рассудила, что уж если спешить, так спешить, и действительно в два дня провели

все: доклад, журнал, особый протокол и исполнение, – и все в том духе, как угодно было „другу людей“. По предложению или предписанию, полученному тобольским архиереем только 16-го апреля, 19-го апреля уже был послан „самонужнейший указ“ консистории в туруханское духовное правление „о самонастрожайшем производстве следствия, по пунктам, указанным в *предписании* министра“.

Указ этот скакал до Туруханска два месяца, – и зато, как только духовное правление его распечатало, так сейчас же отнеслось в тамошний земский суд о „самонемедленнейшем командировании депутата“.

Тут Голицынское строгое предписание и стерли в порошок.

Весь личный состав туруханского земского суда состоял в эту пору из *одного секретаря*, который сам себя командировать не мог. Исправник же дворянский и заседатель (в Туруханске!!) были „в отлучках по обширному краю, и суд не мог дать сведений: где они в данное время находятся“.

Их ждали до октября месяца, а в это время

духовное правление, чтобы показать свою деятельность, „еженедельно писало в земский суд повторения о командировании депутата, а секретарь земского суда тоже еженедельно отвечал, что командировать некого, ибо все члены в расходе“.

Наконец, секретарю земского суда надоело, что духовное правление так щеголяет своею исполнительностью и настояниями, и он, перейдя из оборонительного положения в наступательное, сам „запросил правление: на какие средства должен отправиться депутат по обширному краю“, так как Сперанский сделал распоряжение, чтобы и „чиновники даром не ездили, а тоже платили бы прогоны“.

Правление не нашлось, что отвечать, и сделало представление в консисторию, а консистория отнеслась в губернское правление, а губернское правление потребовало справок от туруханского земского суда (вероятно, о расстояниях), и *прошел год*, а следователи из Туруханска еще не выехали и справки от „небытия“ и о „скверноядстве“ все шли по старому, своим удивительным порядком.

Но вот в декабре 1820 года в Туруханск возвратился из долгого объезда исправник Воскобойников, и ему сейчас же объяснили, что он опять должен немедленно ехать по важному делу, указанному министром.

Воскобойников не стал ждать разрешения вопроса о прогонах и готов был сейчас выехать, но в это самое время приехал заседатель Минголев и сообщил, что „ясачные по рекам Тазу и Турухану все разъехались по своим промыслам и собрать их для следствия теперь нельзя“.

Надо было ждать весны 1821 года. Дождались. Депутат был готов и должен был выехать вместе с следователем, а следователем был назначен второй член туруханского духовного правления священник Александр Верещагин, – родной брат того „тазовского забвенника“, который перебил дни» и над которым надо было производить строжайшее следствие. Каково бы ни вышло это следствие, производимое братом над братом, но и оно, однако, не состоялось, потому что священник Александр Верещагин перед выездом из Туруханска умер. Во всем городе те-

перь оставался только один священник, протоиерей Куртуков, но он не мог командировать самого себя, да и не мог оставить город без требоисправителя.

Все как будто издевалось над «другом людей».

Когда донесли об этом, весной 1820 года, консистории, она уже не приняла дела с прежнею горячностью и сама протянула с ответом до осени, а осенью послала в Туруханск такое предписание, которое «„дивило всех, как духовных также и светских“». А именно: тобольская духовная консистория, как будто на смех над предписанием министра, назначила следователем „содержавшегося в туруханском монастыре штрафного попа Чемесова“, который был прислан в туруханский монастырь из Томска „за безмерное пьянство и убийство и за неудобь-описуемые поступки“».

Назначбние это так смутило туруханского исправника Воскобойникова, что он отменил свое намерение – самому ехать депутатом с светской стороны, и послал к Чемесову вместо себя смотрителя поселенцев Данилова.

Но пока и эти неавантажные следователи

собрались выезжать, кочевники их не стали дожидаться и рассеялись по своим промыслам.

Опять начинаются ожидания до весны 1822 года, и на этот раз «штрафной поп» Чемесов выехал «для всчатия дела» и въехавши, сделал для начала кое-что так хорошо, как нельзя от него было и надеяться.

Прежде всего Чемесов принялся за «тазовского забвенника», как за лицо, допустившее «анекдот», оскорбивший особу именитого путешественника.

Забвенник повинился, что он действительно «помешался в счете дней» и что случилось это, вероятно, в ноябре или в декабре, когда в их местах солнце почти не показывается и весь край освещается одними северными сияниями, а потому не разберешь иногда: когда надо ложиться и когда вставать, и в это темное время не с ним одним бывает, что днями ошибаются и путаются.

– «Вэтом каюсь».

Следователь донес как дело было, а сам отправился «съискивать», как обижают «небытейщиков и скверноядцев», и опять' кажется, имел намерение показать правду, – по крайней мере то, о чем донес Чемесов, было не против обидимых, а за них, и против обидчиков; но тут бедный Чемесов спутался и встретил множество препятствий для окончания следствия.

Между тем открытия Чемесова все-таки драгоценны: он отыскал таких небытейцев, которым нельзя было и явиться «бытейцами», так как это были люди, которые совсем не считали себя христианами. Они откровенно и прямо говорили, что не знают, отчего их называют крещеными, и что они никогда не бывали у исповеди, да и родители их и деды тоже никогда не бывали, а платить штраф за небытие они согласны, потому что пусть это так идет, как издавна повелось, лишь бы их «не гоняли», но отчего так повелось – они тоже не знают. Об обидах, какие потерпели «скверноядцы», дознавать было очень трудно, так как со времени заявления об этом путешественником уже прошло два года, в течение которых кочевники не раз переменились местами, а те, которые не изменили мест, все-таки не искали случая свидеться со следователем, а напротив, «удалялись за реки». Чемесов, однако, все-таки кое-кого из этих людей настиг и дознал от них, что поборы за скверноядство были большие и никогда не кончались. Приходы ясашные были велики, – верст на тысячу и даже на полторы,[58] и при-

хожане тут оседло не живут, но Чемесов кое-кого достигал, и в Имбацком приходе узнал, что действительно ихний священник, по фамилии Кайдалов, «наложил на них ясак за скверноядство» и брал за прочтение разрешительной молитвы от скверноядения за каждого человека в большой семье по 20 белок, а в малом семействе по 30 белок с души, и что платеж этот очень тягостен, так как «скверно есть» дикарям приходится постоянно и постоянно же надо за это платить духовенству, а «хорошей еды» достать негде. Кроме того, Чемесов расследовал, что ясашные Имбацкого прихода платили священнику Кайдалову по 20 белок в год за скверноядство, да по 30 белок за житье с невенчанною женою, и по 20 белок «за детеныша», а кто «отбегал» от этого ясака, с тех Кайдалов «донимал еще дороже: так, например, остяки Серков и Тайков не являлись два года очищаться от скверноядения», и Кайдалов, проследив это, требовал с них по два соболя, а когда они не признавались на исповеди, то он тут же в церкви таскал их за волосы и ругал всячески, а как Серков еще не знал наизусть молитв, то Кайда-

лов запер его в холодной церкви и морил там в холоде двое суток голодом, но тот все-таки молитвы не выучил, а «подал ему двух соболей». С остряка Ивана Ортюгина, который питался одною медвежьей говядиной, священник «взял ясака за молитву два соболя да тридцать белок». И таких случаев, где священник Кайдалов ясно уличался в злоупотреблениях указанного рода, Чемесов ввел в дело «больше сотни».

Тогда увидали, что на смех назначенный в следователи «штрафной поп» и пропойца Чемесов ведет дело как энергический и справедливый человек, и поп Чемесов исчезает и о нем больше не упоминается, а безуспешно начатое им дело тянулось многие годы и, дошедши опять до тобольской консистории, получило себе там очень умиротворяющее заглавие, а именно, его наименовали здесь: «Туруханское дело *о злоупотреблении природною простотою жителей*».

Более удачного тона для смягчения некрасивой сущности этого дела, кажется, трудно было придумать; но однако священник Кайдалов и этим еще остался недоволен и, когда

ему дали «вопросные пункты», – между прочим, не употреблял и он во зло простоту местных природных жителей? – то он обиделся и отвечал: «я никакой простоты в ясашных не знаю, и даже никогда не подозревал, что они просты».

Такие наглые ответы Кайдалов давал в 1824 году, зная, что князь А. Н. Голицын уже охладел к письму именитого путешественника и не следил за этим грубым делом, так как вниманием его после пользовались иные дела, на которые «смотрела Европа»: в 1820 г. «в Одессе и Кишиневе появилось до десяти тысяч греческих выходцев, удалившихся из Константинополя, и многие из сих несчастных единоверцев наших были ввержены в нищету». Голицын старался «на них обратить внимание императора Александра 1-го и исходатайствовал позволение открыть в их пользу подписку, которою и собрал 900.000 рублей», а потом сейчас же «приступил к сбору для хиосцев и критян, и умел и на этот предмет собрать до 750.000», а в 1824 г., когда Кайдалов нахальничал, давая ответы, Голицын был уже уволен от звания министра духовных

дел, и опасаться его было нечего. Так это дело и протянули; а затем наступил 1825 год, – год кончины императора Александра I и других, последовавших за тем, событий, изменивших дух и направление в управлении всеми делами.

Это же повлияло и на судьбу всех дел о «небытии» и о «скверноядстве», соединенных в одно дело, получившее общее заглавие: «о туруханской простоте».

Но и теперь это дело еще не сразу забросили (что было бы лучше), а пошли «смешить им людей», и стали «разыскивать и вызывать в туруханское духовное правление к следствию тунгусов и остяков, кочевавших в Сургутском и Обдорском крае, около Обской губы, т. е. слишком за две тысячи верст». А те «кочевали в местах недоступных за тундрами, зимой уже отходили промыслять зверя, так что и найти их было невозможно». *Несколько лет* еще ездили за ними от Оби до Лены, чтобы собрать этих прихожан, и убедились, что «невозможно не только собрать их, но нельзя получить сведений: где их искать». Тогда уж не было ни побуждений, ни выгод –

что-нибудь придумывать еще, а настало время бросить дело, которое лучше было бы и не начинать.

XXIII

Последний акт величайшей подьяческой продерзости и смелости заключался в том, что когда «бумажное делопроизводство» «о злоупотреблении простотою» сделалось «чрезмерно велико» и его неудобно стало ни возить с собою, ни пересылать по почте, тогда нашли нужным посадить за это дело подьячих, чтобы они составили из него «экстракт».

Подьячие в туруханском духовном правлении были «лядащие», малотолковитые, и «в сочинении не искусные», а притом «были подавлены тяжкими обстоятельствами при самоничтожнейшем жаловании». Они жили «даяниями» и «вымоганиями», которые могли собирать с дел, по которым был налицо живой проситель, а по необъятному делу «о злоупотреблении простотою» некому было ни ходить, ни приносить поминки, и потому оно подьячих не интересовало. Но и кроме того они не смогли бы разобраться в этом деле при его страшном объеме и при той путанице, которой оно было преисполнено; однако они все-таки «экстракт» сделали, и притом

очень замечательный; а когда туруханское духовное правление захотело проредактировать это произведение, то оказалось, что в нем нельзя ничего понять!.. Довольно бы, кажется, но нет! – духовное правление послало отношение в турухауский земский суд, прося его: *«выслать в оное правление всех прикосновенных к делу, для подтверждения их первоначальных показаний и для рукоприкладства под экстрактом».*

Так как это происходило уже в тридцатых годах ныне уже истекающего XIX-го столетия, то тут только этому делу «о злоупотреблении простотою» наступил конец; туруханский земский суд, увидав, что от него требуют нечто чудовищное, – чтобы он собрал и «выслал в Туруханск всех дикарей, кочующих по северной Сибири от Чукотского носа до Урала», то он и признал за самое лучшее – ничего не делать.

Таким образом, только через такое благо-разумное отношение к этому делу оно и получило конец – слишком после столетнего производства. Может быть, что акта о зачислении его конченным и о сдаче в архив и до сих

пор нет, но тем не менее с тридцатых годов истекающего столетия о деле этом больше нигде не упоминается, и оно теперь не имеет уже никакого значения для канцелярий, а представляет собою только ценный материал лишь для бытовой истории Сибири прошедшего века.

Впервые опубликовано – журнал «Вестник Европы», 1893.

Примечания

«Сибирская Библиография», Вл. Изм. Межова
(Издание И. М. Сибиряков, СПб., 1892 г.), содер-
жащая в себе «Указатель книг и статей о Си-
бири». (Прим. Лескова.)

[^^^]

Указ Св. синода 29-го марта 1721 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

3

Указы Св. синода 20-го и 29-го марта 1721 года.
(Прим. Лескова.)

[^^^]

См. Сочинения Посошкова, стр. 10. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Сибирский митрополит Филофей Лещинский правил митрополиею будучи в схиме. Он был на митрополии с 1702 года, и в 1711 году принял в тюменском монастыре схиму с именем Феодора; но «по указу» в 1715 году опять был назначен к управлению кафедрою, и как раз попал под нетерпеливые настояния о взысканиях за «небытие». отошел на покой в 1721 г. и почил 1727. (Прим. Лескова.)

[^^^]

Митрополит сибирский Антоний Стаховский с 1721 года. – † 7-го марта 1740 г. (из малороссиян). См. указ его от 29 апреля 1737 года. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Варлаам Петров (хирот<онисан> (1768–1802),
архиеписк<оп> тобольский. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

10-го июля 1786 г. (Дела арх<ива> томс<кой>
дух<овной> консист<ории>). (Прим. Лескова.)

[^^^]

«Закащиками» в Сибири называли «благочинных». (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

См. дела и духовные росписи за обозначенные годы, хранимые в архиве, помещающемся в колокольне томского Алексеевского монастыря. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

При тех же делах под колокольнею. (Прим.
Лескова.)

[^^^]

Дело в архиве колокольни томского монастыря. (Прим. Лескова.)

[^^^]

См. «Историческое обозрение Сибири». Словцова, стр. 323. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

См. писъма Антона Чехова. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Журнал Мин<истерства> Народн <ого> Про-
свещ<ения>. 1854 г., м<есяц> март, отдел V,
стр. 40. (Прим. Лескова.)

[^^^]

Указ тобольск<ой> д<уховной> кон-
сист<ории5> 9-го ноября 1799 г. и журн<ал>
томск<ого> дух<овного> правл<ения> на 12
генв<аря> 1801 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Указ тоб<ольской> д<уховной> консистории
11-го мая 1784 года. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Ук<аз> тоб<ольской> консист<ории>, 1776 г. (
Прим. Лескова.)

[^^^]

Указ тобольск<ой> д<уховной> кон-
сист<ории>, 5-го мая 1785 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Ук<аз> Тобольск<ой > консист<ории> 15-го июля 1790 г., № 118, и донесение Красноярск<ого> дух<овного> правления 14-го июня 1791 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Ук<аз> Тобольск<ой> консист<ории> 5-го
апр<еля> 1791 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Павел Конюскевич, из малороссиян, хиротонисан 23-го мая 1758 г. из архимандритов Юрьева монастыря. Уволен в 1768 г. из Сибири «по обещанию» в Киево-Печерскую лавру, где и теперь тело его находится под правым приделом «Великой церкви». (Прим. Лескова.)

[^^^]

Тело Павла тобольского, лежащее во гробе под церковью Киево-Печерской лавры, до недавнего времени можно было видеть. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Ук<аз> тоб<ольской> д<уховной> конс<исто-
рии> 26-го июля 1782 г. Варлаам Петров тогда
был еще епископом. В архиеп<ископы> про-
извед<ен> в 1792 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Сильвестр Гловатский, митрополит сибирский, из архимандритов Свяжского монастыря, 1749, июля 6-го. Переведен в Суздаль 9-го окт<ября> 1755 г. (Прим. Лескова.)

[^^^]

Указ тоб<ольской> д<уховной> кон-
сист<ории> 3-го сент<ября> 1752 г. (*Прим. Лес-*
кова.)

[^^^]

По книге Юрия Толстого в сибирской епархии с 1768 значится Варлаам Петров, а с 1803 – Антоний Знаменский. Варлаам – это тот, который постановил дело о «небытии» на степень «самонужнейшего и государственного». (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Ук<аз> тоб<ольской> д<уховной> к<онсисто-
рии> 3-го сент<ября> 1752 г. (Прим. Лескова.)

[^^^]

Ук<аз> тоб<ольской> д<уховной> кон-
сист<ории> 18-го ноября 1777 г., № 1044. (
Прим. Лескова.)

[^^^]

Ук<аз> тоб<больской> д<уховной> конс<исто-
рии> 27-го апр<еля> 1764 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

См. «Русский Архив», 1884, № 1, стр. 32. «Записки некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника сенатора И. В. Лопухина, сочиненные им самим». (Прим. Лескова.)

[^^^]

Указ 11-го мая 1767 года. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Очевидно, «в канцелярию губернатора». (
Прим. Лескова.)

[^^^]

В указе от 15-го сент<ября> 1771 г. сказано, что высочайший выговор последовал в том году, 24 августа. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Указ консистории 20-го августа 1790 г. (*Прим.
Лескова.*)

[^^^]

Ук<аз> 17-го апр<еля>, № 1414. (Прим. Лескова.)
)

[^^^]

Ук<аз> 24-го февр<аля> 1794, № 234. (Прим.
Лескова.)

[^^^]

В числе сибирских священников того времени было много малограмотных, «едва умевших только читать церковное». Религиозная образованность их была такая, что даже один «градский священник» г. Кузнецка, по фамилии Ломшаков, на вопрос протоиерея Комарова: «Как читается седьмая заповедь?» – отвечал: «Помилуй мя, Боже»; а на вопрос: «Сколько таинств и какая их сущность?» – дал ответ: «Таинств есть *десять*, а сущность их непостижима» (Указ тоб<ольской> дух<овной> консист<ории> 27-го апр<еля> 1770 г.) (Прим. Лескова.)

[^^^]

Дело томск <ой> дух<овной> консистор<ии> в
«Колокольном Архиве» Алексеевского мона-
стыря. (Прим. Лескова.)

[^^^]

См. «Сибирский летописец» о ясаке. (Прим.
Лескова.)

[^^^]

По требнику, какой ныне находится в употреблении, нет разделения разных видов «скверноядства». «Молитва о скверноядных» читается так: «Владыко Господи Боже наш, Иже в вышних живый и на смиренныя призираяй: приклони ухо Твое и услыши нас, молящихся Тебе, и подаждь прощение твоему рабу имя рек скверно ядшему, и вкусшему мяс или каковых любо (sic) брашен нечистых ихже снести отрекл еси в законе святем Твоем, – сих же неволю причастившагося прости и сподоби его неосужденно причаститися страшных таинств честнаго Тела же и Крове Христа Твоего, яко да избавится прочее всякаго нечистаго восприятия и деяния, яко напитаваяся Божественными Твоими таинствами и наслаждаяся святыя Твоя и тайныя трапезы и бессмертных таинств и сохраняемый с нами во св. Твоей Церкви восхвалит и прославит Имя Твое вышнее во вся дни живота своего (Требник, гл. 52)». (Прим. Лескова.)

Из «синодальных иеромонахов», хирот<они-
сан> 26-го марта 1741 г. во еписк<опа> си-
бирского и тобольского; 1742 мая 13 мит-
роп<олит> ростовский. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

28-го февр<аля> 1742 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Указ тоб<ольской> д<уховной> конс<исто-
рии> 22-го ноября 1752 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Денис Ив. Чичерин, капитан сем<еновского> полка; при восшествии им<ператора> Петра III «отставлен премьер-майором, но не долго находился в бездействии: имп<ератрица> Екатерина II, переименовав его в бригадиры, определила губернатором в Сибирь. Пользовался особенным доверием монархини» (Слов<арь> достоп<очтенных> люд<ей> р<азных> з<ваний>, т. V) (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Павел Конюскевич был митрополитом в Тобольске с 1758 по 1768 г. Вместе с Чичериным служил в Тобольске шесть лет (с 1762 по 1768).
(Прим. Лескова.)

[^^^]

Об этой «мантии», или «мантилии», в которой Чичерин сделал «орденское шествие», рассчитанное на то, чтобы импонировать тобольскому митрополиту Павлу Конюскевичу, упомянуто у Бантыша-Каменского, но указание, кажется, не обстоятельно и сбивчиво. Чичерин приехал в Сибирь в 1762 г., а в 1765 получил орден св. Анны, тогда еще голштинский; орден же Александра Невского дан ему в 1785. Митрополит же Павел «спасовал» перед Чичериным и «уволился в Киев по обещанию в 1768 году». Следовательно, демонстративное «шествие», в виде короля, Чичерин мог произвести не ранее 1765 года и, вероятно, был при том в «орденской одеянии» или в мантии св. Анны, а не Александра Невского, красная бархатная мантия которого на белом подбое установлена только в 1797 г. императором Павлом, при «улучшении одеяния» этого ордена. Чичерин тогда уже не жил (†1785). (Прим. Лескова.)

Упоминается в Стоглаве, № 525. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Выписано из «Тобольск<ого> Летописца». (
Прим. Лескова.)

[^^^]

Слов<арь> дост<опамятных> люд<ей>, т. V,
стр. 279. (Прим. Лескова.)

[^^^]

Предложение министра духовн<ых> дел, по-
луч<енное> архиеписк<опом> тобольским
Амвросием Келембетом 16-го апреля 1820 г. (
Прим. Лескова.)

[^^^]

С 16-го ноября 1817 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

В 1819 г. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Слов<арь> достопамятн<ых> людей, т. I, стр.
418 (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Ibidem.

[^^^]

Такой образ действий тогда не считался за дерзкое вмешательство «непризванного самозванства», и все знали, что откровенные мнения сенатора Лопухина о русской набожности были приняты государем как умное и правдивое слово, а Лопухин смотрел так, что «хотя у нас в школах и на кафедрах твердят: „люби Бога, люби ближнего“, но не воспитывают той натуры, коей любовь свойственна; а это все равно как бы расслабленного больного, не вылечив и не укрепив, заставить ходить» («Русский Архив» 84 г., стр. 17). (Прим. Лескова.)

[^^^]

Еп<икскоп> тоб<ольский> с 1806 по 1822 г.
(уволен 21-го дек<абря> 1822 г.). См. Юр. Тол-
стой. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]

Например, тазовский приход – 900 верст, хан-тайский – 1.200 и хатаганский – 1.350 верст. (*Прим. Лескова.*)

[^^^]